



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

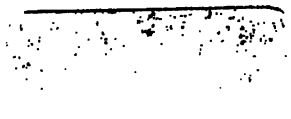
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

PG
3011
M48

8
M60

179.
233.

1815



~~113~~

851
852

ОТГОЛОСКИ

~~1914~~

~~206.~~

Милуков, Александр Петрович

ОТГОЛОСКИ

НА

ЛИТЕРАТУРНЫЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЯ ЯВЛЕНІЯ.

КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

А. МИЛЮКОВА.

С. Петербургъ.

ТИПОГРАФІЯ Ф. С. СУЩИНСКАГО.

Екатерининскій каналъ, 168.

1875.

50502.



5-60.

PG3011

M48

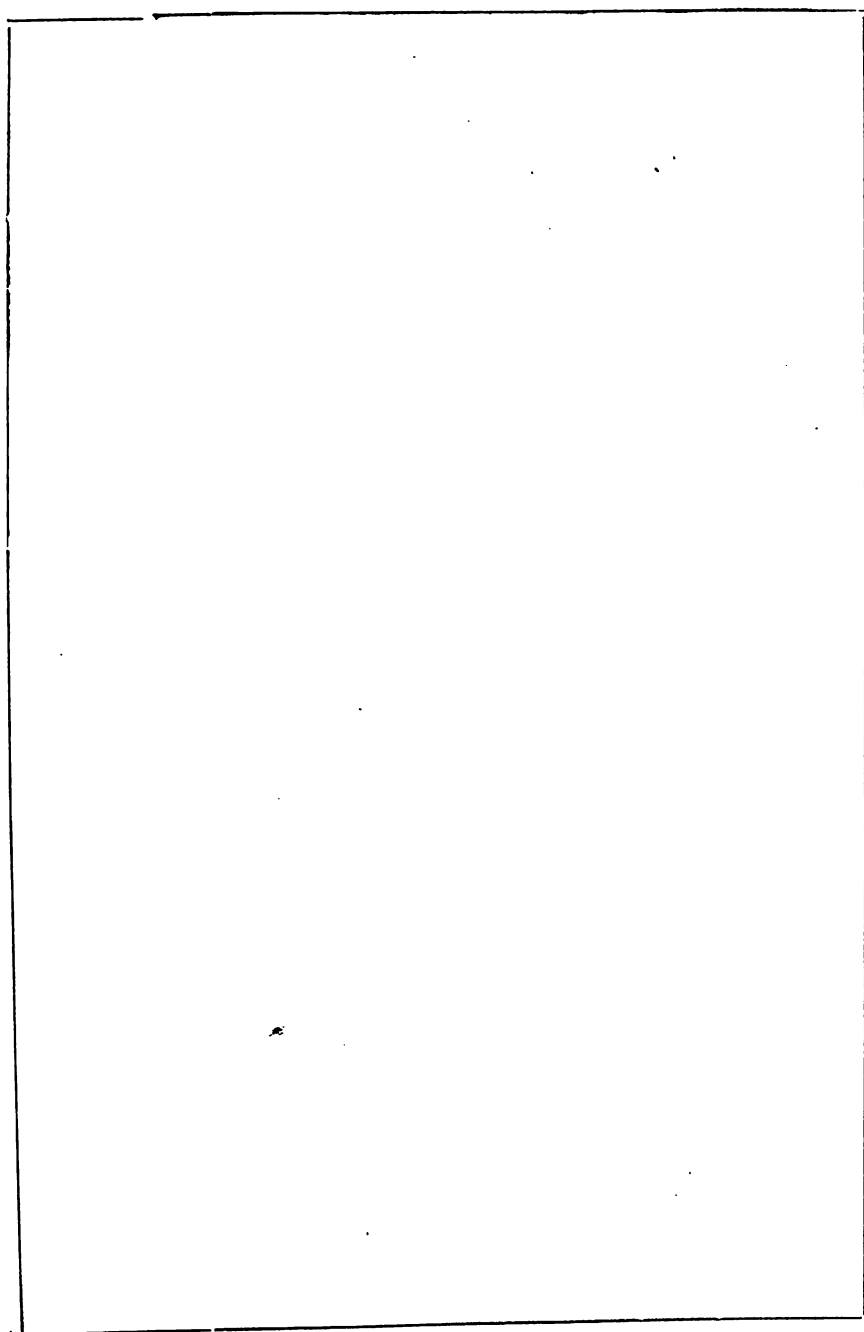


ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дьву Ёиколаевичу

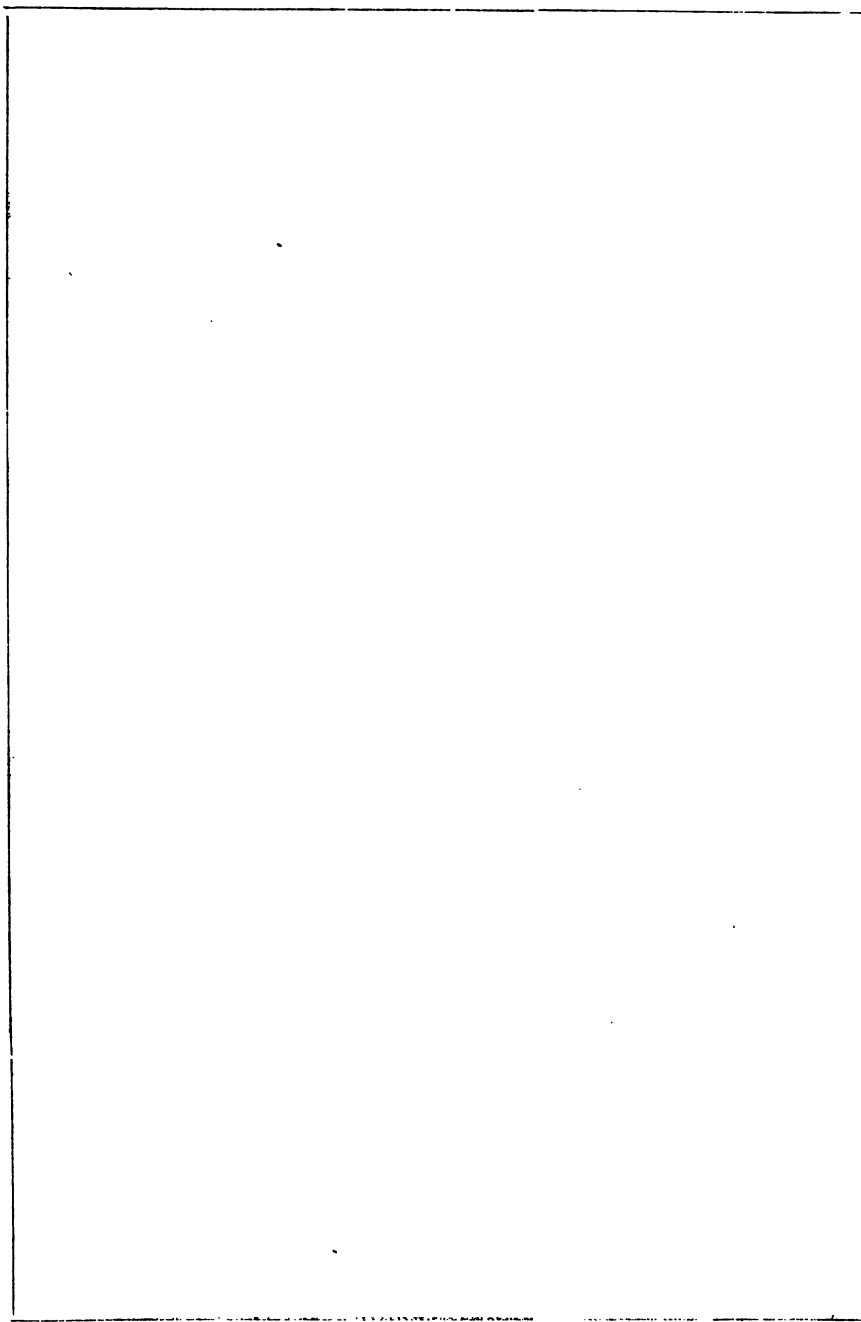
В А К С Е Л Ю .



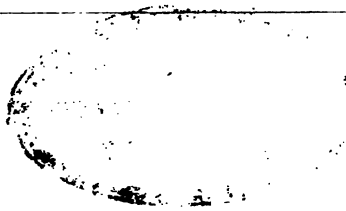


СОДЕРЖАНИЕ.

| | ст.. |
|--|------|
| Русская акація и нѣмецкая дѣятельность | 1 |
| Современная героическая поэма | 33 |
| Петровский переворотъ | 41 |
| Мертвыя души большого свѣта | 58 |
| Публичныя лекціи при Академіи-наукъ | 82 |
| Преступники и несчастные. | 100 |
| Наша историческая драма | 111 |
| Вопросъ о малороссійской литературѣ | 126 |
| Сынъ дьячка и купеческая дочка | 164 |
| Поэтъ славянства | 175 |
| Мертвое море и взбаламученное море | 188 |
| Бурса въ школахъ и литературѣ | 204 |
| Родина скептицизма | 222 |



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are listed in a column on the right side of the page, and the dates are listed in a column on the left side of the page. The names are: John Doe, Jane Doe, and John Doe. The dates are: 1/1/19, 2/1/19, and 3/1/19.



РУССКАЯ АПАТІЯ

и

НОВАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

(„Обломовъ“, романъ Гончарова).

Благодаря талантамъ, по самому роду призванія своего исключительно занятымъ анализомъ общественной жизни и искусства, критика наша меньше, чѣмъ другіе роды литературы, зависѣла отъ обстоятельствъ и временныхъ интересовъ. Вдумываясь постоянно въ отношеніе искусства къ жизни, а слѣдовательно и въ смыслъ самой жизни, она въ лицѣ Бѣлинскаго успѣла выработать взглядъ, основанный на принципахъ и убѣжденіяхъ, который далъ ей обширное значеніе въ нашемъ общественномъ развитіи. Но несмотря на бойкое чутье истины, въ нашей критикѣ замѣтны по временамъ косвенные шаги въ сторону, отчего при всѣхъ достоинствахъ она нерѣдко обходитъ замѣчательное и тянетъ васъ къ посредственному, объ одномъ не позволяетъ отозваться съ уваженіемъ, о другомъ не

дасть сказать самого безобиднаго замѣчанія. Въ этомъ отношеніи русская критика, далеко превосходя современную французскую, не можетъ еще дорости до твердаго самосознанія критики англійской. Въ Англіи является, напримѣръ, Диккенсъ, и съ каждымъ новымъ романомъ растетъ его авторитетъ; но критика, опредѣляя талантъ его, указывая на силу творчества и обширность общественнаго значенія, въ то-же время говоритъ открыто, что у автора «Крошки Дорритъ» нѣтъ умѣнья въ постройкѣ плана, что въ основѣ его вымысла нерѣдко лежитъ какое-нибудь странное сплетеніе случайностей. Это нисколько однакожъ не мѣшаетъ Диккенсу пользоваться огромнымъ авторитетомъ. У насъ не такъ: мы ужъ если разъ влюбимъ кого, такъ готовы побить камнями всякаго, кто отважится сказать не вполне хвалебное слово насчетъ обожаемаго кумира. Попробуйте, напримѣръ, при всемъ уваженіи къ таланту и заслугамъ Гоголя, сказать, что языкъ въ послѣднихъ его сочиненіяхъ нельзя признать безукоризненно-изящнымъ, что складъ его рѣчи отличается тяжелымъ механизмомъ, нехудожественнымъ строенъ, и съ внѣшней стороны ниже языка нетолько Тургенева или Гончарова, но и многихъ беллетристовъ! Такой отзывъ многимъ покажется дикимъ, и васъ назовутъ чуть не глупцомъ и невѣждой. Это породило у насъ крайнюю щекотливость въ писателяхъ относительно критики. Зная, что въ литературныхъ солнцахъ пятенъ замѣчать не любятъ, писатели наши смотрятъ неблагоприятно на критическіе отзывы,—и сказать что-нибудь не совсѣмъ хвалебное о признанномъ авторитетѣ считается дерзкимъ покушеніемъ на авторскую извѣстность, желаніемъ оскорбить и унижить талантъ.

Между-тѣмъ эта щекотливость въ писателяхъ и самой критикѣ нетолько мѣшаетъ вѣрному опредѣленію талан-

товъ, но—что гораздо важнѣе—способствуетъ обращенію въ публикѣ мнѣній ошибочныхъ и нерѣдко вредныхъ въ эстетическомъ или общественномъ значеніи. Мы этимъ, разумѣется, не думаемъ намекать на неразвитость нашей публики, а хотимъ только замѣтить, что большая часть ложныхъ понятій образуется въ ней съ голоса критики. Все это повторилось при появленіи романа Гончарова. Встрѣчая съ понятнымъ восторгомъ новое произведеніе даровитаго писателя, мы свернули въ сторону, увлеченные или художественными достоинствами романа, или желаніемъ показать свой идеалъ общественной жизни, — и въ публикѣ начали распространяться преувеличенные толки о томъ, что въ *Обломовѣ* въ первый разъ явилась глубокая идея о нашемъ обществѣ, сказано новое слово о прошедшемъ и будущемъ Россіи. Какая-же это небывалая идея? какое это до-сихъ-поръ незнакомое намъ слово?

Не будемъ распространяться о томъ, что обыкновенно разумѣютъ подъ идеей и новымъ словомъ въ художественномъ произведеніи. Поэтъ, такъ-же какъ мыслитель и публицистъ, можетъ высказывать общественныя истины, но только въ художественномъ созданіи, въ красотѣ поэтическихъ образовъ, потому-что поэтъ говоритъ только прекрасными формами. Въ нихъ-то развивается идея, которая проникаетъ все его созданіе, даетъ ему жизнь и значеніе. Поэтому идея художественнаго произведенія чужда всякой аллегоріи, не связывается съ нимъ какъ посторонняя мысль, не выражается въ видѣ какой-нибудь сентенціи, а воплощается въ лицахъ и образахъ, во всей цѣлости созданія художника. Вотъ отчего и самъ поэтъ по большей части не видитъ ее какъ мысли, потому-что онъ мыслить не иначе, какъ образами. Нерѣдко кажется, будто идея въ художественномъ созданіи выводится помимо образовъ, но

это только кажется. Возьмемъ что-нибудь общезвѣстное, напримѣръ байронова «Шильонскаго Узника». Что за идея въ этой маленькой повѣсти, такъ небогатой внѣшнимъ дѣйствіемъ? Конечно страданіе челоуѣка, въ глазахъ котораго гибнутъ въ тюрьмѣ его два брата. Но одно-ли это такъ обязательно приковываетъ насъ къ поэмѣ? Нѣтъ: въ этой повѣсти воплощена другая, высшая идея, которая не высказывается прямо ни однимъ словомъ, но вѣетъ во всемъ созданіи поэта и проникаетъ его болѣе глубокимъ значеніемъ. Передъ нами челоуѣкъ, съ энергіей въ душѣ, съ сердцемъ полнымъ любви, прикованъ къ каменному столбу и видитъ, какъ вокругъ, такими-же узниками, гибнутъ его ближніе, его братья, жертвами дикаго тиранства и слѣпой, бессмысленной силы, а онъ не въ состояніи помочь имъ, не въ силахъ протянуть руки, не можетъ даже уронить братской слезы на ихъ холодѣющую грудь. Эта идея нигдѣ прямо не выражена, но она проникаетъ невидимо все созданіе художника и широко раздвигаетъ значеніе поэмы. Возьмемъ еще въ нашей литературѣ — рядъ близкихъ по смыслу произведеній, «Евгенія Онѣгина», «Героя нашего времени», «Кто виноватъ», «Рудина». Во всѣхъ этихъ поэтическихъ созданіяхъ, въ группѣ болѣе или менѣе родственныхъ лицъ, постоянно развивается одна идея—это вопросъ о значеніи тѣхъ молодыхъ силъ, которыя бродятъ въ нашемъ обществѣ, не находя разумнаго выхода. Въ Онѣгинѣ, Бельтовѣ, Печоринѣ и цѣломъ рядѣ лицъ одного съ ними жизненнаго закала мы видимъ типъ, въ которомъ, безъ всякаго аллегорическаго намека, болѣе или менѣе художественно, воплотилась извѣстная сторона нашей жизни. Положеніе молодаго поколѣнія среди чуждой ему массы, вслѣдствіе недостаточности или ложности его воспитанія, несовременности стремленій или усиленнаго развитія желаній и идеа-

ловъ, и обыкновенный исходъ всего этого— охлажденіе къ жизни,— вотъ идея, которая постоянно выражалась въ этомъ типѣ, измѣняясь только по мѣрѣ измѣненія нашихъ нравовъ. Исторія этого типа можетъ служить исторіей нашего общества. Если не всякое изъ этихъ родственныхъ лицъ высказывало какое-нибудь новое слово, зато каждое представляло новые фазисы въ развитіи и смыслѣ нашего общественного быта, поставляло болѣе или менѣе ясно какой-нибудь вопросъ нашей дѣйствительной жизни. Всѣ эти лица сдѣлались нашими представителями, на которыхъ мы повѣряли моменты собственнаго развитія.

Обратимся-же къ роману Гончарова и взглянемъ на его идею и значеніе. Вся грамотная Россія прочла «Обломова» и успѣла познакомиться даже съ критическими взглядами на него, а потому, чтобъ не повторять извѣстнаго, будемъ говорить о романѣ, какъ о произведеніи по содержанию своему хорошо уже знакомомъ публикѣ. Съ перваго взгляда видно, что романъ относится по смыслу своему къ категоріи поэтическихъ произведеній, выражающихъ общественные вопросы, что авторъ желалъ показать намъ въ Обломовѣ послѣдній типъ; въ который переродился Онѣгинъ, переходя вмѣстѣ съ общественной жизнью по разнымъ ступенямъ нравственнаго измѣненія. Что-же именно хотѣлъ сказать намъ Гончаровъ своимъ романомъ? въ чемъ должны мы искать здѣсь новой идеи и новаго слова?

Не вдаваясь въ аллегорическое толкованіе содержанія романа, легко понять, что идея и задача его — написать картину нашей общественной жизни, показать въ лицѣ Обломова русскую лѣнь и апатію, которая сроднилась съ обществомъ, и если иногда просыпается отъ столеновенія съ живой дѣйствительностью, то очень ненадолго и потомъ снова входитъ въ обычное русло мертвеннаго застоя. Мы

не произвольно вывели эту мысль: она лежитъ въ основѣ романа, выносится изъ характера главнаго лица и всѣхъ положеній дѣйствія. Обломовъ съ начала до конца—въ чемъ согласилась и критика—выражаетъ русскую жизнь, русское воспитаніе. Штольцъ, отражая въ фокусѣ своей личности мысли автора, характеризуетъ апатію своего друга подъ именемъ *обломовщины* и понимаетъ подъ этимъ именно русскую жизнь. Ясно, что Гончаровъ, какъ Пушкинъ въ *Онѣгинѣ*, какъ Тургеневъ въ *Рудинѣ*, хотѣлъ показать намъ въ своемъ Обломовѣ новый характеристическій типъ нашего общества. Но неужели-же въ немъ есть правда? Неужели въ этомъ человѣкѣ выразился, какъ многіе увѣряютъ, нашъ національный темпераментъ, неужели это лицо создано по нашему образу и подобию! Мы съ этимъ несогласны. Какъ! Обломовъ — воплощеніе русской жизни, портретъ нашего общества, прозябающаго въ безвыходной лѣни и застоѣ, онъ новое слово нашего поколѣнія, зеркало, въ которомъ мы должны узнать себя въ настоящее время! Неправда! Мы далеки отъ тѣхъ восторженныхъ возгласовъ, какими многіе улаждаются у насъ, чуть не плача отъ умиленія при исполинскихъ успѣхахъ, какіе будто-бы сдѣлало наше могучее общество; мы вовсе не вѣримъ тѣмъ поэтическимъ увлеченіямъ, съ какими увѣряютъ насъ, что русскій богатырь шагнулъ въ послѣднее время до крайнихъ предѣловъ прогресса, обнаружилъ гигантскія силы, прозрѣлъ глубоко на свои бѣдствія, омылъ въ мертвой и живой водѣ свои вѣковыя раны и чуть не перегналъ англичанъ и американцевъ въ спасительномъ самообличеніи. Во всѣхъ этихъ лирическихъ проявленіяхъ молодого, непривычнаго восторга видны пока только слова и слова. Но неужели-же при всемъ этомъ можно обвинить насъ въ обломовской апатіи? Да развѣ эти самые восторги

и возгласы не показываютъ скорѣе какой-то дѣтской живости, хотя и не совсѣмъ можетъ-быть разумной. Мы сдѣлали немного, но вѣдь и не спимъ-же мы тѣмъ сномъ, который грозитъ апоплексическимъ ударомъ. Мы можетъ-быть не совсѣмъ практически подвигались въ нашихъ реформахъ; но развѣ самыя ошибки въ этомъ не показываютъ скорѣе торопливости и бойкаго увлеченія, понятныхъ въ живой натурѣ, у которой руки долго были связаны. Нашъ крестьянскій вопросъ шелъ можетъ-быть нѣсколько медленно, но гдѣ-же и тутъ мертвая апатія! Со стороны литературы? Но мы видѣли; что она сдѣлала въ этомъ случаѣ все, что могла, и не оставалась лѣнивой зрительницей событія. Со стороны помѣщиковъ, что-ли? Да развѣ мы не знаемъ, что дѣлалось въ комитетахъ, развѣ не нашлись тамъ благородныя личности, энергически стоявшія за дѣло, развѣ и сами Обломы лѣнились писать письма и проекты и безъ борьбы лежали володами на диванѣ въ ожиданіи развязки! Мы немножко тяжелы на подъемъ, но вѣдь не считаемъ-же мы невѣроятнымъ подвигомъ кабую-нибудь поѣздку въ деревню. Да кто-же больше ѣздитъ за-границу, какъ не русскіе, хоть поѣздка для насъ немножко труднѣе, чѣмъ переправа чрезъ Рейнъ или Калескій-проливъ. Ужъ конечно въ этомъ перегнали насъ не *штолцы*. Мы сошлемся на самаго автора Обломова. Развѣ сдѣлать кругосвѣтную поѣздку и послѣ того, среди другихъ занятій, написать четыре порядочные тома—доказываетъ обломовскую лѣнь. Мы мало читаемъ, но вѣдь не лежатъ-же у насъ книги по цѣлымъ годамъ разогнутыя на одной и той-же страницѣ! Кто-же подписывается въ Россіи на десятки тысячъ экземпляровъ журналовъ, кто раскупаетъ тысячи томовъ Обломова, какъ не тѣ-же самыя ничего не дѣлающіе Обломы! Нѣтъ: если въ нашемъ обществѣ проявлялась апатія,

это зависѣло отъ внѣшняго гнета,—и всякій разъ, когда обстоятельствамъ случалось сдвинуть его, натура русская являлась хоть неразвитой, но вовсе не апатичной.

Наша литература давно поняла это, и вотъ отчего въ ней такъ долго жилъ типъ человѣка недовольнаго жизнью, разочарованнаго или озлобленнаго вслѣдствіе препятствій, мѣшающихъ найти разумную опору. Тутъ литература была права: она понимала причину явленія. Вспомните этотъ рядъ грустныхъ и знаменательныхъ лицъ, начиная съ Онѣгина и оканчивая Рудинымъ. Въ нихъ мы видимъ то человѣка, оторваннаго отъ живой дѣятельности пустымъ свѣтскимъ воспитаніемъ, то жертву юношескаго непониманія жизни и общества,—но всѣ они съ началами свѣжей натуры, съ живымъ, энергическимъ умомъ и сердцемъ, и ихъ апатія развивается только отъ неразумнаго направленія дѣятельности или отъ невозможности удовлетворить ей въ той сдавленной средѣ, гдѣ они родились. Все это дѣти нашего общества.

Но чтобъ показать отличіе Обломова отъ этихъ типическихъ лицъ, припомнимъ поэму Майкова «Двѣ судьбы» и ея героя, Владиміра. Мы беремъ его потому, что это едва ли не самая печальная личность, можетъ-быть оттого, что онъ жилъ въ болѣе тяжелое время. Владиміръ, не смотря на жалкую развязку его жизни и нравственное паденіе,—все еще симпатиченъ. Встрѣчая этого человѣка послѣ какого-то столѣновенія съ жизнью, мы еще находимъ въ немъ свѣжія силы — увлеченіе искусствомъ, любовь къ отечеству и уваженіе ко всему, что свободная жизнь показала ему широкаго и человѣчнаго у другихъ. Онъ любитъ Италію, но мысль его постоянно обращена къ родинѣ, и среди чудесъ классической страны онъ постоянно доспрашивается о задачѣ нашей жизни. Его упорно преслѣдуетъ дума:

Зачѣмъ такъ старѣмся рано,
И скоро къ жизни холодѣемъ мы?
Вдругъ никнетъ духъ, черствѣютъ вдругъ умы!
Едва восходъ блеснетъ зари румяной,
Едва дохнетъ зародышъ вышнихъ силъ,
Едва зардѣетъ пламень благородный—
Какъ вдругъ, глядишь, завяль, умолкъ, остылъ...

И отвѣтъ на это таится отчасти въ самой его натурѣ, полной жизни и энергіи, въ которой «только заперто, а не погасло чувство». И мы вѣримъ, что онъ не рисуется, когда на вопросъ о его страданіяхъ отвѣчаетъ:

Какъ вамъ назвать ихъ?...
Душевной пустотой? Нѣтъ, иногда
Душа полна восторга и въ волненье
Ее приводитъ доблесть, вдохновенье
И образъ гениальнаго труда...
Иль сномъ ума? Нѣтъ, онъ не спитъ и шумно
Работаетъ и любитъ онъ труды;
Онъ труженикъ: какъ рудокопъ безумный,
Все роется и ищетъ онъ руды;
Но до нея не можетъ онъ дорыться,
И подрываетъ только то, что въ немъ
Святѣйшаго, небеснаго таится.

Скоро, правда, находимъ мы этого юношу въ деревнѣ, бариномъ и помѣщикомъ: онъ потолстѣлъ, перестаетъ мало-по-малу читать и въ промежуткахъ обѣдовъ и ужиновъ только насвистываетъ *Casta diva* и ходитъ діагонально по комнатѣ. Но онъ очевидно скучаетъ въ этой апатіи, сердится на свое бездѣйствіе—и въ послѣднихъ словахъ его, «въ вѣдѣ спасенье только есть», слышится скорѣе сарказмъ человѣка, надломленнаго борьбою, чѣмъ послѣдній отголосокъ задавленной жизни.

И всѣ эти Онѣгины, Печорины, Рудины—лица родственныя Владиміру. Вы негодуете на этихъ людей, но чувствуете къ нимъ сожалѣніе, не отказываете имъ въ сим-

патіи, потому-что въ нихъ все-таки видна живая сила, испорченная только средою и жизнью.

Съ перваго взгляда кажется, будто Обломовъ похожъ на эти знакомыя лица, но въ сущности сходство это только внѣшнее. На самомъ дѣлѣ это натура совершенно иная. Онъ можетъ-быть честиѣ Онѣгина, благороднѣ Печорина, нѣжнѣ Владиміра; но вы невольно отворачиваетесь отъ этой личности. Отчего-же это? Оттого, что въ тѣхъ людяхъ, при всей ихъ нестойкости въ борьбѣ, все-же есть жизнь, молодая сила, русская мощь, только подавленные извнѣ, а здѣсь одна врожденная апатія, несовмѣстная съ нашей натурою дряблость; оттого, что тамъ въ охлажденіи ихъ чувствуется вліяніе ненормальной жизни, а здѣсь видѣнъ, по выраженію Гоголя, человѣкъ-тряпка по самой своей природѣ. Въ онѣгинскомъ типѣ мы видимъ потокъ, холодной температурой закованный въ ледяныя цѣпи; въ обломовской личности встрѣчаемъ стоячую лужу, покрытую сплошной гнилью. Повѣтъ дыханіе свободнаго вѣтра, взойдетъ теплое весеннее солнце,—тамъ ледяная кора лопнетъ, сбѣжитъ внизъ съ накопившейся на ней грязью, и потокъ засверкаетъ, загремитъ съ ропотомъ жизни; здѣсь вѣтеръ только на время отгонитъ тину къ одному краю лужи, а солнце чѣмъ будетъ грѣть теплѣе, тѣмъ больше породитъ міазмовъ.

Во всѣхъ измѣненіяхъ онѣгинскаго типа источникъ зла — ненормальное воспитаніе и гнетущая жизнь. Гончаровъ такъ-же хотѣлъ показать сномъ Обломова, что апатія и лѣнь его героя есть только слѣдствіе нелѣпо-барскаго воспитанія. Мы хорошо знаемъ, до какой степени воспитаніе можетъ извратить человѣческую натуру, но знаемъ тоже, что оно не убьетъ окончательно человѣка, если въ душѣ его есть сколько-нибудь врожденной силы. И Онѣ-

гинъ, и Рудинъ воспитаны дурно, — но мы видимъ въ нихъ людей испорченныхъ жизнью, а не дряблыхъ. И какое-же воспитаніе получили Ломоносовъ, Пушкинъ, Дашкова! Нѣтъ, лѣнь и апатія Обломова происходятъ не столько отъ воспитанія, какъ отъ негодности самой его натуры, отъ мелкости умственныхъ и душевныхъ силъ. Что въ четырнадцать лѣтъ онъ зараженъ уже дикими барскими понятіями, — это у насъ не новость. Положимъ, тутъ многое зависѣло отъ воспитанія, но неужели все? Неужели Захаръ, натягивая ему всякій день чулки, или нянька, запрещаая бѣгать въ оврагъ, испортили этимъ порядочную натуру дотого, что даже и университетъ не могъ ничего разбудить въ душѣ. Въ романѣ Диккенса — мистеръ Дорритъ живетъ двадцать лѣтъ въ долговой тюрьмѣ, съ двумя дочерьми, изъ которыхъ меньшая и родилась тамъ. Когда онъ получаетъ наслѣдство, изъ нищаго дѣлается капиталистомъ, начинаетъ разыгрывать полу-лорда, беретъ дочерямъ аристократическую воспитательницу, окружаетъ ихъ цѣлымъ штатомъ служанокъ, — одна изъ дочерей его тотчасъ-же переходитъ на роль знатной лэди, а простодушная Эми остается прежнею крошкой Дорритъ, тяготится новой обстановкой и даже съ неудовольствіемъ принимаетъ услуги горничныхъ. Вотъ гдѣ разница воспитанія и самой натуры. Положимъ, что Обломовъ освобождается въ послѣдствіи отъ нѣкоторыхъ привычекъ деревенскаго барства и не поддаетъ уже Захаркѣ ногою въ носъ, но это вовсе не оттого, чтобы какіе-нибудь разумные принципы восторжествовали надъ его воспитаніемъ. Напротивъ, въ немъ остаются всѣ замашки барства, сродныя его натурѣ, и онъ съ убѣжденіемъ говорить, что ему нельзя воспитывать своихъ будущихъ дѣтей такъ, чтобы они сами добывали хлѣбъ, потому-что «нельзя изъ дворянъ дѣлать мастеровыхъ». У Обломова такіа по-

натія врожденны и неискоренимы. Это врагъ всего, къ чему стремится Россія, въ чемъ она ищетъ своей будущности: у него отвращеніе къ труду, къ успѣхамъ промышленности, къ грамотности. Когда Штольцъ привозить ему новость, что недалеко отъ Обломовки предполагають устроить пристань и провести шоссе, а въ городѣ открыть ярмарку, представитель нашего поколѣнія страшно пугается.

— «Ахъ, Боже мой! говоритъ онъ, этого еще не доставало. Обломовка была въ такомъ затишьѣ, въ сторонѣ, а теперь ярмарка, большая дорога! Мужикъ поведется въ городъ—бѣда!....»

— А ты заведи школу въ деревнѣ! замѣчаетъ Штольцъ.

— «Не рано-ли? сказалъ Обломовъ:—грамотность вредна мужику....»

Изъ этого ясно видно, что заговорилъ-бы Илья Ильичъ, еслибы дожилъ до нашего времени и узналъ о крестьянскомъ вопросѣ. Какъ-же можно ставить его на-ряду съ Овѣгинимъ, который съ первымъ шагомъ въ деревню подумалъ о судьбѣ мужика. Это эгоистъ, который дрожитъ за утрату своихъ правъ, хотя вовсе ими не пользуется, трепещетъ за уменьшеніе доходовъ, хотя не знаетъ счета деньгамъ. Обломовъ самъ довольно-мѣтко опредѣляетъ свою мелкую натуру. «Я изношенный кафтанъ, говоритъ онъ, но не отъ климата, не отъ трудовъ, а оттого, что двѣнадцать лѣтъ во мнѣ былъ запертъ свѣтъ». Впрочемъ, онъ правъ только въ первой половинѣ своего приговора: дѣло въ томъ, что свѣта-то было въ немъ слишкомъ мало, и онъ износился отъ самой своей негодности, а не отъ внѣшняго тренія.

При драблости натуры, Обломовъ отличается простотою и самъ признается въ этомъ. «Дай мнѣ своего ума и веди меня,

куда хочешь!» говорить онъ своему нѣмецкому другу. И это признаніе въ ограниченности онъ безпрестанно подтверждаетъ на дѣлѣ. Неужели одна только лѣнь и апатія можетъ заставить человѣка съ здравымъ смысломъ цѣлые годы обдумывать въ Гороховой-улицѣ планъ устройства отдаленнаго имѣнія и ворочать въ головѣ соображенія объ увеличеніи его доходовъ! А между-тѣмъ Обломовъ, «какъ встанетъ утромъ съ постели, послѣ чая ляжетъ тотчасъ на диванъ, подопретъ голову рукой и обдумываетъ, не щадя силъ, до-тѣхъ-поръ, пока наконецъ голова утомится отъ тяжелой работы, и когда совѣсть скажетъ: довольно сдѣлано сегодня для общаго блага!» Что это такое? Лѣнь и апатія! Если хотите—пожалуй, только апатія въ головѣ, и апатія врожденная. Неужели-же это черта русская! Простота Обломова обнаруживается на каждомъ шагѣ—и въ нѣжныхъ бесѣдахъ съ Ольгой, и въ довѣрчивости къ Тарантьеву и Мухомарову, послѣ того, какъ онъ самъ убѣдился въ образѣ дѣйствій этихъ негодаевъ. Неужели только «хрустальная душа» заставила Обломова объясняться съ мошенникомъ-хозяиномъ о своихъ дѣлахъ и пускаться въ изліянія о своей непрактичности, о незнаніи сколько у него крестьянъ и сколько они платятъ оброку, что такое барщина и сельскій трудъ, что значитъ четверть ржи и овса, и когда сѣютъ и жнутъ! Неужели одна лѣнь и доброта заставили его дать заемное письмо хозяйкѣ и выплачивать по немъ деньги мошенникамъ? Неужели наконецъ можно признать умъ въ человѣкѣ, который отказывается отъ своихъ мыслей по первому слову какого-нибудь Захара.

— «Чтобы тебѣ записывать? (говоритъ Обломовъ, когда они припоминаютъ свои расходы). Худо быть безграмотнымъ!

— Прожилъ вѣкъ и безъ грамоты, слава Богу, не хуже другихъ! возразилъ Захаръ, глядя въ сторону.

«Правду говоритъ Штольцъ, что надо завести школу въ деревнѣ!» подумалъ Обломовъ.

— Вонъ, у Ильинскихъ былъ грамотный-то, сказывали люди, продолжалъ Захаръ:—да серебро изъ буфета и стащилъ.

«Прошу покорнѣйше! трусливо подумалъ Обломовъ. Въ самомъ-дѣлѣ, эти грамотѣи — все такой безнравственный народъ: по трактирамъ, съ гармоникой, да чай.... Нѣтъ, рано школы заводить!»....

Нѣтъ, въ этомъ видна не «хрустальная душа», а эгоизмъ и ограниченность.

Что-же общаго между живымъ опѣгинскимъ типомъ и этой карикатурой на русскую жизнь? Что общаго между Бельтовымъ и Владиміромъ, представляющими дѣйствительныя лица, и этимъ увальнемъ, который всю жизнь пролежалъ на диванѣ, для котораго, по словамъ автора, лежанье было не случайностью, а нормальнымъ состояніемъ! Принимая его за аллегорическій портретъ, мы находимъ въ немъ карикатурное преувеличеніе, какъ въ отраженіи лица человѣческаго на сильно-выпукломъ зеркалѣ; а разсматривая его какъ дѣйствительное лицо, не находимъ въ немъ ни жизни, ни художественной правды, и слѣдовательно самая мысль свести Рудиныхъ и Владиміровъ на Обломова и вмѣсто внѣшняго зла указать на нашу собственную несостоятельность — лишена правды и эстетическаго значенія.

Если въ героѣ своемъ авторъ хотѣлъ дать урокъ русскому человѣку, то съ другой стороны въ Ольгѣ желалъ показать намъ типъ русской женщины. Въ самомъ-дѣлѣ, въ нашей литературѣ личность охлажденнаго человѣка являлась всегда на ряду съ образомъ женщины: всѣ эти прелестныя лица, отъ Татьяны и вняжны Мери до Круци-

ферской и Нины, служили для полнаго выраженія или объясненія этого типа. Всѣ онѣ, встрѣчаясь съ «героями нашего времени», начинали любопытствомъ, отъ него переходили къ участію, потомъ къ любви и страсти, и выходили обыкновенно изъ борьбы съ разбитымъ сердцемъ. Занимаясь характеристикой Онѣгиныхъ и Печориныхъ, мы какъ-то мало обращали вниманія на эти женскія личности, а между-тѣмъ изученіе ихъ не меньше любопытно и поучительно. Въ нихъ выразилось состояніе нашего общества, положеніе въ немъ женщины и ея постоянная судьба — дѣлаться игрушкою человѣка, разбитаго жизнью. Посмотрите, съ какимъ любопытствомъ и участіемъ встрѣчаютъ эти Татьяны, Мери, даже чужія намъ Нины, этихъ Онѣгиныхъ, Владиміровъ, Печориныхъ, какъ любятъ ихъ и какъ дорого платятъ за свою любовь. Но ихъ участіе и любовь вполнѣ понятны и только украшаютъ, освящаютъ въ глазахъ нашихъ эти прелестныя личности: въ нихъ сердце женщины высказалось сочувствіемъ къ нашему поколѣнію, такъ долго томившемуся подъ суровымъ гнетомъ. Онѣ въ охлажденномъ человѣкѣ, не смотря на замѣтную даже въ немъ театральность, все-таки видѣли достойную участія жертву, подъ его апатіею инстинктивно чувствовали присутствіе живой, но только затаенной силы и видѣли человѣка, способнаго при другихъ условіяхъ къ добру и дѣятельности. Въ лицѣ Онѣгиныхъ и Владиміровъ эти женщины любили и прощали людей, не устоявшихъ въ борьбѣ съ роковой силою. Вотъ отчего, понимая недостатки Онѣгиныхъ и Печориныхъ, мы симпатизируемъ этимъ женщинамъ, понимаемъ ихъ любовь, сочувствуемъ ихъ несчастіямъ.

Такъ-какъ, для сравненія съ Обломовымъ, мы взяли Владиміра, то встати уже припомнимъ и женщину, съ ко-

торой судьба свела его въ Италіи. Хотя личность Нины очерчена у Майкова слабо и неполно, но она истинна и симпатична. Это страстная итальянка, которая живет и дышетъ любовью. Исторія ея страсти—обыкновенная исторія:

Сперва зажглось лишь любопытство въ ней;
Потомъ ей тайнѣ сдѣлалось пріятно
Жалѣть о другѣ новомъ; непонятно
Къ нему неслись ея всѣ мысли; онъ,
Казалось ей, достоинъ лучшей доли—
А какъ помочь? въ ея ли это воля?
Быть-можетъ, онъ озлобленъ, оскорбленъ,
И рождена она—какъ знать—съ призваньемъ
Вновь помирить его съ существованьемъ....

Нина готова оставить мать и друзей, промѣнять свою прекрасную родину на снѣжную Россію. На всѣ возраженія Владиміра она отвѣчаетъ страстью и говорить:

На все готова я,
На все, на все. Въ тотъ мигъ, когда тебя
Я встрѣтила, тогда лишь я узнала,
Что у меня въ груди есть сердце.

И эта любовь, не смотря на нѣсколько-мелодраматическое проявленіе, намъ понятна: мы видимъ, какъ просто и естественно пришла этой пылкой дѣвушкѣ мысль согрѣть любовью этого чужеземца. Нина встрѣтила въ немъ челоуѣка, не мертваго душою, а несчастнаго—и ея любовь вполне естественна и возбуждаетъ участіе.

Ольга, какъ и всѣ эти женщины, начинаетъ любопытствомъ при видѣ лица, не похожаго на другихъ извѣстныхъ ей людей. Но предметъ ея любопытства — не челоуѣкъ, разбитый столкновеніемъ съ жизнью, а сонная, апатическая натура, неловкій и тяжелый байбакъ, проводящій цѣлыя дни въ горизонтальномъ положеніи, совершенно довольный жизнью и преданный только ѣдѣ и лежанью.

Штольцъ, который умѣлъ занимать и смѣшить молодую дѣвушку, привезъ къ ней въ домъ своего друга и сообщил о немъ подробности, какія съ перваго раза дѣлаютъ человѣка смѣшнымъ въ глазахъ женщины. На этого-то господина, такъ интересно рекомендованнаго, обратила любопытный взглядъ дѣвушка умная и образованная, какъ представляетъ ее авторъ. И въ любопытствѣ молоденькой дѣвушки, разумѣется, нѣтъ ничего необыкновеннаго. Отъ этого понятнаго чувства Ольга скоро переходитъ къ участию, особенно когда *Casta diva* разогрѣла ея соннаго героя. Штольцъ, уѣзжая за-границу, завѣщаетъ ей Обломова, просить приглядывать за нимъ, не давать лежать на диванѣ, — но и эта новая дружеская рекомендація не вредитъ Ильѣ Ильичу въ глазахъ доброй Ольги. У нея въ «уменьшѣнной, хорошенькой головкѣ» развился уже подробный планъ, какъ она отучитъ Обломова спать послѣ обѣда, даже лежать на диванѣ, заставить читать книги, писать письма, съѣздить въ деревню, за-границу. Она беретъ на себя роль доктора, мечтаетъ, что возвратитъ къ жизни человѣка, спасетъ нравственно-погибающій умъ и душу. «Она даже вздрагивала отъ гордаго, радостнаго трепета; считала это урокомъ, назначеннымъ свыше». Вотъ что привязываетъ Ольгу къ Обломову. И конечно, всякій допустить возможность такой прихоти со стороны праздно дѣвушки, понимая однакожъ, что тутъ дѣло идетъ не о призваніи свыше, а просто о самомъ обыкновенномъ кокетствѣ.

Не смотря на то, что натура Обломова выказывается съ первыхъ шаговъ, Ольга сначала изъ угожденія Штольцу, а потомъ уже по собственной волѣ начинаетъ трудиться надъ своей задачею. Мало-по-малу она привыкаетъ къ своей игрѣ, начинаетъ находить въ ней удовольствіе,

потому-что ей открывается будто-бы возможность «хоть надъ ёмъ-нибудь господствовать». — Роль путеводной звѣзды, говоритъ авторъ, ей понравилась. «Ольга, какъ всякая женщина въ первенствующей роли, то-есть въ роли мучительницы, конечно менѣе другихъ и безсознательно, но не могла отказать себѣ въ удовольствіи немного поиграть имъ по-кошачьи». Хотя авторъ и говоритъ, что вся ея тактика была проникнута нѣжной симпатіей, но замашки ея не внушаютъ къ ней самой симпатіи: это не та прелестная любящая женщина, какихъ мы видимъ у Пушкина и Тургенева; это кошка, играющая съ мышью, да еще съ какой мышью! Вотъ отчего Ольга не привлекаетъ насъ, какъ Татьяна, Нина или Круциферская. Впрочемъ, если до-сихъ-поръ личность Ольги и не симпатична, по крайней-мѣрѣ она понятна. Но вотъ, поигравъ съ Обломовымъ по-кошачьи, она не шутя въ него влюбляется. Совсе не претендуя на знаніе женскаго сердца, съ этой минуты нельзя принимать героиню Гончарова за живую, дѣйствительную личность. Положимъ, дѣвушка и заинтересовалась какъ-нибудь этой сонной и ветхой натурой; но это могло быть развѣ минутной прихотью, капризомъ головы и воображенія, а не увлеченіемъ сердца. Возможно-ли, чтобъ умная и образованная дѣвушка долго и постоянно могла любить человѣка, который безпрестанно зѣваетъ въ ея присутствіи и даетъ понять на всякомъ шагу, что для него любовь есть «только тяжелая служба». Какъ развитая женщина не могла догадаться заранѣе, что изъ такой тряпки никогда ничего не выдетъ, что подъ такой лежащей каменъ никакая живая вода не потечетъ. Вспомните сцену въ Лѣтнемъ-саду или пріѣздъ Ольги на квартиру ея любезнаго. Неужели женщина со смысломъ — какъ-бы ни была она ослѣплена любовью — не могла догадаться, что при

всемъ неловкомъ стараніи Обломова прикрыть свой страхъ и трепеть участіемъ въ любимой особѣ, заботой о неприкосновенности ея добраго имени,—во всякомъ словѣ и движеніи его проглядывалъ эгоистъ, который робѣетъ и тревожится только за одного себя, или лучше сказать, за свой сонъ и аппетитъ, и откровенно говоритъ своей обожательницѣ: «ты не знаешь, сколько здоровья унесли у меня эти страсти и заботы». Хотя Ольга и замѣчаетъ сама, что съ первой минуты знакомства съ Обломовымъ видѣла въ немъ мужа; но ея любовь, въ смыслѣ привязанности долгой и серьезной, дотого невѣроятна, что даже самъ Илья Ильичъ удивляется ей и не можетъ понять, какъ могла полюбить его эта дѣвушка.

«Не ошибка-ли это? спрашиваетъ онъ. Что она нашла во мнѣ такого? Экое сокровище далось!» А Штольцъ, когда Ольга призналась ему, что любила Обломова, просто остоленѣлъ:

— «Обломова! повторилъ онъ въ изумленіи. — Это неправда! прибавилъ потомъ положительно, понизивъ голосъ.

— Правда! покойно сказала она.

— Обломова! повторилъ онъ вновь. — Не можетъ быть! прибавилъ потомъ увѣрительно».

Намъ понятна привязанность къ Обломову вдовы Пшеницыной, которая нашла въ немъ идеалъ барина, не занятого ни службой, ни внижками, умѣющаго цѣнить и ея голые локти, и умѣнье отлично печь пироги и варить кофе; но возможно-ли, чтобъ Ольга начала «стыдиться героя своего романа» только тогда, когда онъ совсѣмъ уже голословно высказался въ своей пошлости и эгоизмѣ! Штольцъ рѣшилъ, что любовь Ольги къ Обломову была «любовь будущая» и даже не любовь, а игра воображенія и самолюбія. Но развѣ натура апатичнаго эгоиста могла такъ долго

обманывать даже самолюбіе и воображеніе? Возможно-ли это въ дѣвушкѣ, которая съ перваго шага смотрѣла уже на Обломова, какъ на будущаго мужа, которая въ послѣдствіи, сдѣлавшись женою Штольца, начала попомногу превращаться къ практическую женщину и синій чулокъ! Что же это за личность? Неужели мы должны видѣть въ ней аллегорію? Неужели авторъ, желая показать въ своей *обломовщинѣ* русское зло, хотѣлъ выразить въ Ольгѣ призваніе женщины, мечтающей оживить наше общество, разбудить его отъ сна и апатіи, вызвать къ труду и дѣятельности,

И новой мыслью, новой страстью,
Огнемъ, любовью, красотой
Подвинуть міръ въ путяхъ ко счастью
И взволновать его застои?

Неужели онъ хотѣлъ доказать, что отъ невозможности оживить этотъ холодный трупъ, наша женщина обратилась къ живому, дѣятельному западному элементу въ лицѣ русскаго нѣмца Штольца, предоставляя «хрустальную душу» въ распоряженіе другой родственной души вдовы Пшеницыной? Но такого аллегорическаго значенія мы не можемъ допустить въ художественномъ произведеніи; а еслибы допустили, то и въ такомъ случаѣ оно теряетъ смыслъ, потому что самъ Обломовъ, какъ мы уже замѣтили, вовсе не типъ русской жизни. Такимъ-образомъ Ольга—или отвлеченная и неумѣстная аллегорическая фигура, или лицо ложное и не симпатичное.

Въ контрастъ съ лѣнливой натурой Обломова Гончаровъ поставилъ дѣятельнаго, практическаго Штольца. Если въ одномъ онъ хотѣлъ показать образъ нашего барства, неподвижности и нелѣпаго воспитанія, олицетворить нашъ допетровский элементъ; то въ другомъ думалъ, кажется, написать портретъ представителя нашего вѣка, выразить запад-

ное начало, отъ столкновенія съ которымъ просыпается на мгновеніе наша жизнь, раздвигается покрывающая ее плѣсень. Въ этой личности авторъ выразилъ очевидное желаніе сдѣлать новую попытку — создать вѣчно-неудающійся намъ положительный типъ. Въ какой-же мѣрѣ удался онъ теперь? Что вышло изъ нѣмецкой натуры, выработанной русской жизнью? Авторъ не безъ цѣли знакомить насъ вполне съ воспитаніемъ Штольца: онъ хочетъ показать, какъ въ противоположность Облому выработался этотъ мальчикъ, который отъ матери заимствовалъ русское сердце и языкъ, отъ отца нѣмецкую практичность и аккуратность, росъ широко и вольно, бѣгалъ гдѣ хотѣлъ, на цѣлые дни уходилъ изъ дому, возвращался изорванный, выпачканный, съ разбитымъ носомъ. Можетъ-быть такое дѣтство и лучше обломовскаго; но опять замѣтимъ, что если дурное воспитаніе не можетъ вполне убить натуры свѣжей, то съ другой стороны и воспитаніе здоровое не можетъ дать человѣку того, въ чемъ онъ обойденъ отъ природы. Мы видимъ, правда, что изъ Штольца не вышло, какъ замѣчаетъ авторъ, ни бурша, ни филистера, но зато развился тотъ практически-холодный человѣкъ, какими въ самомъ дѣлѣ дарило насъ послѣднее время, благодаря можетъ-быть тому-же внѣшнему гнету, заглушавшему въ душѣ все теплое и поэтическое. Штолецъ — близкая родня Калиновичу: у него та-же дѣятельность, та-же забота о собственной карьерѣ, безъ всякой любви къ своей полуродинѣ, безъ всякой горячей, дѣйствительной мысли сдѣлать что-нибудь для ея блага. Нетолько въ жизни, но и въ домашней обстановкѣ этотъ человѣкъ отталкиваетъ еще больше, чѣмъ его сонный пріятель. У Обломова комнаты никогда не метутся, на стулья нельзя присѣсть отъ пыли, на столѣ стоитъ неубранная отъ вчерашняго ужина тарелка, и листы

въ книгахъ онъ разрѣзываетъ пальцемъ. Штольцъ, не смотря на то, что русская жизнь «изъ безцвѣтной таблицы сдѣлала ему яркую, широкую картину», ищетъ во всемъ педантическаго порядка и формальности, любитъ, чтобы бумаги, карандаши, всѣ мелочи такъ и лежали на столѣ, какъ онъ ихъ положить. Въ нравственномъ отношеніи — онъ эгоистъ еще больше сухой и антипатичный. Обломовъ тяготится любовью, потому-что она мѣшаетъ ему лежать на диванѣ, заставляя каждый день одѣваться и не давая во время пообѣдать; Штольцъ при встрѣчахъ съ женщинами старается избѣгать всякихъ волненій и тревогъ любви, заботясь сохранить свой «здоровый организмъ.» Неужели-же въ этомъ Штольцѣ должны мы признать свѣжую натуру, идеаль, къ которому стремится русская жизнь? Неужели это образецъ лучшей части нашего молодаго поколѣнія, представитель нашего будущаго общества? Если-бы намъ предстояло сдѣлать выборъ между Обломовымъ и Штольцемъ, то не смотря на жалкую апатію соннаго тю-фава, мы скорѣе остановились-бы на немъ, чѣмъ на этой холодно-приличной, отталкивающей личности, которая вѣчно резонируетъ и съ высоты какого-то пуританскаго величія смотритъ на русскую жизнь. Въ этой антипатичной натурѣ, подъ маскою образованія и гуманности, стремленія къ реформамъ и прогрессу, скрывается все, что такъ противно нашему русскому характеру и взгляду на жизнь. Въ этихъ-то «штольцахъ» и таились основы гнета, который такъ тяжело налегъ на наше общество. Изъ этихъ-то господъ выходятъ тѣ черствые дѣльцы, которые, добиваясь выгодной карьеры, давятъ все, что ни попадется на пути, предводители марширующей и пишущей фаланги, готовые ранжировать людей, какъ вещи на своемъ письменномъ столѣ, — сухіе бюрократы, преслѣдователи мелкихъ взяточ-

никовъ и угодники крупныхъ, враги всего, не подходящаго къ нѣмецкой чинности, готовые придавить все живое, во имя своей дисциплины. Изъ этихъ полурусскихъ «штольцевъ» выраждаются всѣ учредители мнимо-благодѣтельныхъ предпріятій, эксплуатирующіе работника на фабрикѣ, акціонера въ компаніи, при громкихъ возгласахъ о движеніи и прогресѣ, всѣ великодушные эмансипаторы крестьянъ безъ земли, съ жаромъ проповѣдующіе объ освобожденіи личности изъ - подъ вліянія ненавистной и дикой русской общины. Изъ этой-то толпы людей, ничѣмъ кровнымъ не привязанныхъ къ родинѣ, толкующихъ о святости законовъ и готовыхъ произвольно попирать ихъ при удобномъ случаѣ, vyplываютъ всѣ эти мелкіе деспоты, которые, вмѣсто законнаго пути, все рѣшаютъ прихотью и связями, какъ распорядился и нашъ Штольцъ съ Мухоморовымъ. Этотъ-то типъ, мѣняясь какъ хамелеонъ съ ходомъ самаго времени, породилъ у насъ тѣхъ положительныхъ людей, которымъ недавно еще литература какъ-будто сочувствовала въ лицахъ Петровъ Ивановичей Адуевыхъ, Паншиныхъ, Калиновичей, которые во всемъ и прежде всего ищутъ выгоды и не видятъ никакой поэзіи въ жизни, если въ ней нѣтъ ничего практически-полезнаго. Смѣшны были сентиментальные юноши, которые жили одними вздохами и нѣжностями, любовались луной и цвѣтами и вѣялись, что съ милой соломённая хижина милѣ царскихъ чертоговъ; но если не смѣшнѣе, то несравненно противнѣе эта положительная молодежь, которая, отказавшись отъ сладенькой чувствительности, ударилась въ черствую практичность, поелоняется только мѣшку съ золотомъ и благоговѣетъ предъ поэзіей акцій и дивидендовъ. Если одни никогда не смотрѣли подъ ноги и оттого вѣчно падали, за-то другіе никогда не отводятъ глазъ отъ дорожной грязи и знать не

хотятъ, что дѣлается выше. Литература, осмѣивая безпредметный идеализмъ, дѣлала конечно хорошо, потому что хотѣла отучить отъ бесплодныхъ вздоховъ и заставить чѣмъ-нибудь заниматься; но съ другой стороны едва ли не больше принесла она зла, идеализируя этотъ холодный типъ практическихъ эгоистовъ. Всѣ эти Калиновичи и К^о такъ заняты устройствомъ своей карьеры, что общему благу ничѣмъ не жертвуютъ, кромѣ однѣхъ фразъ, а если и рѣшатся играть дѣятельно-благородную роль, то развѣ только изъ желанія еще больше выказаться въ модномъ положеніи. Сегодня они кричатъ противъ взяточниковъ и гонятъ злоупотребленія оттого, что это нетолько безопасно для нихъ, но можетъ быть даже и полезно; а подуй другой вѣтеръ — и завтра они будутъ гонителями образованія и гасителями мысли и очень умно будутъ говорить о необходимости подчиниться обстоятельствамъ. Никогда эти «штольцы» не выдутъ впередъ, если общество потребуетъ какой-нибудь существенной жертвы, какого-нибудь дѣйствительно-гуманнаго подвига, развѣ при этомъ явится возможность ожидать впереди за жертву воздаянія сторицею. Неужели-же въ самомъ дѣлѣ въ Штольдѣ олицетворена благородная личность нашего времени, здоровый организмъ нашей эпохи! Нѣтъ! отвергая смыслъ жалкой и карикатурной *обломовщины*, мы еще больше не признаемъ идеальнаго значенія этой холодной *штольцовщины*.

Но мы не въ первый разъ уже встрѣчаемъ у Гончарова искусственное сближеніе идеализма и положительности. Въ герояхъ его романа съ перваго взгляда можно узнать старыхъ знакомыхъ: это Александръ Федоровичъ и Петръ Ивановичъ Адуевы, нѣсколько переодѣтые и иначе обставленные. Они даже и перемѣнились не много. Вспомните наружность Петра Ивановича и Штольца: педаромъ

авторъ сравниваетъ одного съ центавромъ, а другаго съ кровной англійской лошадыю. Въ лицѣ одного не выражается ни добродушія, ни злости, ни великаго ума и еще меньше глупости, а одно только холодное спокойствіе, и онъ никогда не поддается ни хорошему, ни дурному впечатлѣнію. Другой «живетъ по бюджету, стараясь тратить каждый день, какъ каждый рубль, съ ежеминутнымъ, никогда не дремлющимъ контролемъ издержаннаго времени, труда, силъ души и сердца. Кажется, и печалами и радостями онъ управляетъ, какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ, или какъ обращается съ дурной и хорошей погодой». Вспомните дѣятельность Адуева-дяди, его хлопоты съ заводомъ и компаньонами, его понятія о женитьбѣ и семейномъ счастьи, планы на устройство домашней жизни, его разговоры съ племянникомъ,—и взгляните на Штольца, который точно такъ-же въ постоянномъ движеніи, служить и покупаетъ дома, участвуетъ въ промышленныхъ компаніяхъ, ѣздитъ по дѣламъ за-границу, пишетъ и приводитъ въ исполненіе проекты и тормозитъ своего облѣбнивагося товарища. Очевидно, что это любимый типъ Гончарова, который создавался многолѣтней думой: въ образѣ Штольца онъ явился съ тою-же самой фізіономіей, съ тѣмъ-же духомъ и идеей, но выработался съ большей ясностью и оконченностью.

Въ Обломовѣ, не смотря на особенность его натуры, замѣтно также нѣкоторое сходство съ Александромъ Федоровичемъ Адуевымъ. Оба они одинаково дурно воспитаны въ деревнѣ, избалованы барствомъ, испорчены съ первыхъ впечатлѣній,—и оба, пройдя черезъ университетъ, на первомъ шагѣ неловко поскользнулись на жизненномъ пути. Авторъ до того сходно велъ ихъ, что нарочно кажется хотѣлъ показать, какъ, при одинаковомъ воспитаніи, различ-

ныя натуры, поставленныя въ одно и то-же положеніе, могутъ разойтись въ жизни. Адуевъ и Обломовъ пріѣзжаютъ въ Петербургъ дѣлать карьеру, поступаютъ на службу съ мечтою объ общественной пользѣ, даже служатъ какъ-будто въ одномъ департаментѣ, — и оба, споткнувшись, падаютъ съ первой ступени. У cadaго изъ этихъ непрактическихъ телемаковъ есть свой менторъ: одного дядя старается отклонить отъ безпредметной идеализаціи къ дѣйствительной жизни, другаго Штольцъ пытается притянуть отъ апатіи къ какой-нибудь дѣятельности. Въ самой любви ихъ, которая у того и другаго завязывается лѣтомъ на дачѣ, въ окрестностяхъ Петербурга, много общаго. Изъ столеновенія съ этой любовью оба они выходятъ одинаково и впоследствии только расходятся, по различію своей натуры: Адуевъ лечится новой любовью, потомъ переходитъ къ апатическому охлажденію, ловитъ рыбу съ Костяковымъ и лежитъ по цѣлымъ днямъ на диванѣ; Обломовъ прямо и окончательно возвращается къ дивану, какъ къ своему нормальному быту. Адуевъ начинаетъ избѣгать дяди, Обломовъ не радъ посѣщеніямъ Штольца, — и оба, въ обществѣ Костякова и Евсея, Аграфены Матвѣевны и Захара, обращаются къ животной жизни. Въ положеніяхъ ихъ столько общаго, что авторъ какъ-будто нарочно хотѣлъ двумя разными приѣмами рѣшить одну и ту-же задачу. Но выводы, разумѣется, вышли различные. Казалось, Обломовъ при сближеніи съ Ольгой готовъ покинуть диванъ и отказаться отъ халата; но ветхая натура опять потянула его къ нормальному состоянію, и онъ кончилъ женитьбой на глупой чиновницѣ и апоплексическимъ ударомъ. Казалось, Адуевъ, послѣ двухъ тяжелыхъ столеновеній съ жизнью, переселясь на Пески и впоследствии въ деревню, кончитъ диваномъ и халатомъ; но его характеръ, въ которомъ таились сѣмена практич-

ности, вызвалъ его опять къ жизни, и изъ него вышелъ не Обломовъ, а Петръ Ивановичъ или, пожалуй, Штольцъ. И вотъ гдѣ доказательство, что лѣнь и апатія Обломова — слѣдствіе не воспитанія, а самой его натуры.

Итакъ герои «Обыкновенной Исторіи» явились и въ другомъ романѣ Гончарова, только въ новомъ превращеніи. Адуевъ-дядя еще больше погрязъ въ дѣловой суетѣ, принялъ нѣмецкую фізіономію, выродился въ Штольца, съ явнымъ намѣреніемъ помирить насъ съ своимъ эгоизмомъ и показать, что судьба женщины не всегда кончается съ нимъ безвыходнымъ положеніемъ Лизаветы Александровны, а иногда и счастіемъ Ольги Сергѣевны. Адуевъ-племянникъ, ради большей сатиры на наше воспитаніе, переродился въ Обломова, съ покушеніемъ быть представителемъ русской лѣни и выразить ее въ крайнихъ послѣдствіяхъ. Но если мы и прежде не сочувствовали дядѣ и племяннику, то по-крайней-мѣрѣ видѣли въ нихъ дѣйствительныхъ людей; а теперь — въ образахъ Штольца и Обломова они являются въ преувеличенномъ видѣ и становятся не живыми типами, а карикатурой на русскую жизнь.

Съ какою-же цѣлью знакомые намъ Адуевы явились въ новомъ романѣ? чтò именно хотѣлъ сказать ими авторъ? Еслибъ въ поэтическомъ произведеніи, вмѣсто живой художественно-воплощенной идеи, мы согласились допустить отвлеченную аллегорію, которая придумана заранѣе и потомъ уже обставлена лицами и происшествіями, то можно бы подумать, что Гончаровъ въ новомъ романѣ своемъ хотѣлъ показать намъ старую Русь и ея отношеніе къ европейской цивилизаціи. Эта далекая, темная Обломовка, съ своими патріархальными обитателями, заброшенная баринѣмъ, разоренная Тарантьевыми, Мухояровыми и Затерты-

ми, потомъ приведенная въ порядокъ Штольцами, служила-бы аллегорическимъ представленіемъ Россіи. Понимая подъ Обломовымъ старый порядокъ дѣлъ, мы могли-бы объяснить смыслъ его тяжелой натуры, его эгоистически-лѣни-вый характеръ, прозябанье въ лѣни и апатіи, отъ которыхъ не въ состояніи были разбудить его ни любовь, ни дружба, ни наука, ни теплое дыханіе жизни. Въ такомъ случаѣ мы готовы были-бы допустить, что Обломовъ олицетворяетъ отчасти до-петровскую Русь и столкновеніе ея съ европейскимъ элементомъ; тогда и самый представитель этого элемента Штольцъ получилъ бы въ нашихъ глазахъ нѣкоторое значеніе. Тутъ сдѣлалась-бы понятна и роль Ольги, и ея планъ разбудить соннаго Обломова, и попытки Штольца вдохнуть жизнь и дѣятельность въ вялый организмъ, и его послѣднія слова: «Прощай, старая Обломовка! ты отжила свой вѣкъ!» Тогда въ самомъ маленькомъ Андрюшѣ мы видѣли-бы можетъ-быть намекъ на молодое поколѣніе, которое должно воспитаться подъ иными условіями жизни. Но въ такомъ случаѣ романъ изъ художественнаго созданія превратился-бы въ отвлеченный, дидактическій трактатъ. Мы давно пережили время, когда идея изящнаго произведенія въ нашей литературѣ болѣе или менѣе смѣшивалась съ аллегоріей. Теперь всѣ понимаютъ, что идея воплощается въ создаваемые художникомъ лица, не лишая ихъ жизни, плоти и крови; аллегорія-же только облачаетъ заранее взятыя понятія въ соотвѣтственные имъ образы, имена и костюмы. Въ романѣ мы ищемъ живыхъ лицъ, портретовъ, списанныхъ съ дѣйствительной жизни. Чичиковы и городничіе, Бульбы и художники Чартковы, дамы «пріятныя во всѣхъ отношеніяхъ» и «просто пріятныя», выражая своими характерами и жизнью какую-нибудь идею, въ то-же время являются намъ живыми ти-

пами, съ плотью и кровью. Въ главныхъ-же лицахъ Гончарова мы не находимъ дѣйствительной жизни, а видимъ или аллегорическія фигуры, придуманныя для изображенія старой Руси, нѣмецкаго элемента, роли женщины въ нашемъ развитіи, или характеры исключительные и даже карикатурные. Но если-бы въ основаніи романа вмѣсто аллегоріи и лежала идея, то и въ такомъ случаѣ она не затрогивала-бы нашей современной жизни и высказывала-бы слово вовсе не новое. Давно уже разные «штольцы» твердятъ, что русскій человѣкъ спитъ непробуднымъ сномъ и не способенъ ни къ какому серьезному труду; давно привыкли мы видѣть, какъ сваливаютъ извнѣ привитую намъ апатію на самую натуру и характеръ нашего народа. Не въ первый разъ придется намъ слышать, что «безпечность есть стихія русскаго человѣка, и онъ не находитъ для себя ничего лучшаго, кромѣ покоя и недѣтельности». Но кто во всемъ нашемъ современномъ обществѣ видитъ одну только «обломовщину», тому мы укажемъ на Петра, Ломоносова, Дашкову, Пушкина,—и они отвѣтятъ за насъ, что если и было что-нибудь общее между «обломовщиной» и старой Русью, то теперь преобладающіе элементы въ новой жизни нашей вовсе не напоминаютъ уже ни безпробудной апатіи Обломова, ни безпредметной и холодной дѣятельности его пресловутаго друга.

Въ заключеніе обратимся къ художественной сторонѣ романа Гончарова. Разсматривая это произведеніе, помимо его идеи и главныхъ лицъ, мы должны прямо сказать, что оно отличается высокими красотами. Конечно, въ планѣ романа есть также недостатки, вредящіе полнотѣ цѣлаго. Такъ напримѣръ, вся первая часть по отсутствію дѣйствія кажется лишнею: на двухъ-стахъ страницахъ мы читаемъ только, какъ Обломовъ лежитъ на диванѣ, потомъ спитъ

и видитъ сонъ, то-есть свое дѣтство и воспитаніе, а въ промежуткѣ этого лежанья и сна являются пять лицъ, изъ которыхъ большая половина потомъ вовсе не показывается. При этомъ мы узнаемъ, конечно, характеръ главнаго героя, знакомимся съ его личностью и жизнью, но характеръ и жизнь лица, по условіямъ искусства, должны развиваться въ дѣйствіи, а не въ однообразныхъ положеніяхъ и монотонномъ разсказѣ. Положимъ, что въ визитахъ Волкова, Пѣнкина, Судбинскаго передъ нами ярко выступаетъ личность Обломова, отчетливо обрисовываются разныя стороны его натуры, но все-же отъ этого романъ, въ которомъ ненужныя лица введены только для обрисовки главнаго, теряетъ со стороны стройности плана и занимательности. Намъ скажутъ: какого-же вы хотите разнообразія въ монотонной жизни этого мѣшка, какого требуете дѣйствія тамъ, гдѣ дѣло идетъ о человѣкѣ, у котораго лежанье на диванѣ было нормальнымъ состояніемъ? Замѣчаніе справедливое, но тѣмъ не менѣе романъ, при отсутствіи дѣйствія, проигрываетъ въ художественномъ отношеніи. Монотонность первой части становится еще замѣтнѣе отъ частыхъ повтореній въ мелкихъ подробностяхъ. Этотъ стукъ безпрестанно прыгивающихъ съ лежанки ногъ Захара, одно и то-же обращеніе самого Обломова къ приходящимъ гостямъ:—«не подходи, не подходи—ты съ холоду»—хотя и гармонируютъ съ общей обстановкой сцены и характеромъ героя, но при слишкомъ частомъ повтореніи надоедаютъ читателю. Вотъ отчего романъ Гончарова кажется нѣсколько растянутымъ и скучнымъ.

За исключеніемъ этого недостатка, въ художественной сторонѣ романа видѣнъ мастеръ, котораго прямо можно поставить наряду съ Гоголемъ. Описанія Гончарова отличаются необыкновенной вѣрностью рисунка и поразитель-

ной живостью красокъ: природа поражаетъ у него тою-же отчетливостью формъ, какъ въ лучшихъ картинахъ Тургенева, и сверхъ того въ его колоритѣ есть что-то мягкое и теплое. Точно также сцены петербургскаго, особенно холостаго быта очерчены съ удивительной правдой и полнотою. Вспомните комнату Обломова въ Гороховой-улицѣ или его квартиру на Выборгской-сторонѣ: здѣсь всякая черта подмѣчена необыкновенно тонко и полна смысла. Вообще романъ богатъ превосходными частностями и мастерскими отдѣльными сценами. Лучшее мѣсто въ немъ, по нашему мнѣнію — сонъ Обломова, и особенно первая его половина, гдѣ авторъ съ удивительной вѣрностью и въ самыхъ живыхъ краскахъ рисуетъ картину темнаго провинціальнаго быта, ничѣмъ не уступающую лучшимъ эпизодамъ «Мертвыхъ Душъ». Второстепенныя лица Гончарова, какъ и въ прежнемъ его романѣ, далеко превосходятъ главныя, не смотря на то, что обрисованы иногда неслишкомъ полно. Какъ хороша въ «Обыкновенной Исторіи» мать Адуева, такъ-же художественно прекрасна и его Агафья Матвѣевна — одинъ изъ самыхъ совершенныхъ типовъ въ нашей литературѣ. Даже лица, слегка только набросанныя какъ-бы нѣсколькими взмахами карандаша, выходятъ у автора живы и характерны: такова въ прежнемъ романѣ Аграфена, такова и здѣсь Анисья. Вообще въ женскихъ лицахъ мелкаго помѣщичьяго или двороваго быта онъ не имѣетъ у насъ соперниковъ: это уже не карикатуры, а полные типы, живые портреты или только бойкіе эскизы, но безъ малѣйшей фальшивой черты или преувеличеннаго штриха. Наконецъ нельзя не замѣтить комизма Гончарова, который заставляетъ подозрѣвать въ немъ признаки сценическаго дарованія. Вспомните, напримѣръ, бесѣду Обломова съ докторомъ, когда угрожая близкимъ ударомъ

отъ сидячей жизни, онъ чертитъ ему планъ поѣздки за-
границу и программу будущаго леченія. Сколько тутъ ве-
селости и комизма! Но это не комизмъ Гоголя, оставляю-
щій послѣ себя болѣзненное чувство негодованія и желчи,
а комизмъ полный добродушія и граціозной мягкости. Та-
кимъ-образомъ, не признавая въ «Обломовѣ» современнаго
типа, ни живой общественной идеи, должно однакожъ
сказать, что сочиненіе это по художественнымъ достоин-
ствамъ принадлежитъ къ капитальнымъ явленіямъ нашей
литературы.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА.

(Нѣсколько словъ о „Мертвыхъ Душахъ“ Гоголя).



У насъ многіе недоумѣваютъ, почему Гоголь назвалъ «Мертвыя Души» — поэмой. Что это: капризь, умыселъ или шутка? Толковъ объ этомъ было не мало и въ обществѣ, и въ журналистикѣ — и вопросъ остался нерѣшеннымъ; одни видѣли въ этомъ желаніе надменнаго самолюбіемъ автора поставить себя на-ряду съ Гомеромъ, другіе думали, что онъ хотѣлъ только насмѣяться надъ классическимъ эпосомъ. Но почему-же, въ-самомъ-дѣлѣ, «Мертвыя Души» не назвать поэмой! Извѣстно, что всѣ теоретики, начиная съ Аристотеля и до Лагарпа, подъ именемъ героической поэмы разумѣли обширное эпическое сочиненіе, обильное чудесными событіями, гдѣ герой, одаренный могучимъ характеромъ, стремясь къ какой-нибудь высокой цѣли, является въ борьбѣ съ людьми или судьбою. Вспомните-же содержаніе «Мертвыхъ Душъ», — и вы согласитесь, что похожденія Павла Ивановича Чичикова нисколько не усту-

пають подвигамъ какого-нибудь Ахилла или Готфреда и вполне удовлетворяють законамъ піитики.

Чичиковъ, какъ истинный герой поэмы, одушевленъ высокою цѣлью: онъ задаетъ себѣ задачу нажить состояніе. Какая современная и въ то-же время вѣчная мысль! Нажить деньги, обогатиться—да это мечта всѣхъ временъ и народовъ, это пѣсня вѣчно-юная, какъ Иліада! Но вѣдь въ поэмѣ, кромѣ элемента общечеловѣческаго, долженъ быть и элементъ національный. Гомеръ тѣмъ и великъ, что его герои люди и въ то-же время греки, а Вольтеръ оттого именно и не поэтъ, что лица его—если немножко и люди, то ужъ никакъ не французы. Посмотрите-же, какъ вся повѣсть Гоголя вѣетъ народнымъ духомъ!

Чичиковъ задумываетъ обогатиться — и идетъ къ этой цѣли путемъ совершенно національнымъ. Онъ опредѣляется на службу въ комиссію построенія какого-то капитальнаго казеннаго зданія, шесть лѣтъ дѣятельно участвуетъ въ ея трудахъ,—и цѣль становится уже близкою. У Павла Ивановича, какъ и у другихъ атридовъ строительной комиссіи, является собственный домъ; онъ уже «покупаетъ сукна, какого не носила цѣлая губернія, приобретаетъ отличную пару и самъ держитъ одну возжу, заставляя пристяжную виться кольцомъ».

Но вотъ завязывается первый узелъ поэмы, первая борьба героя съ препятствіями и судьбою. На мѣсто прежняго тюфяка-начальника, на все смотрѣвшаго сквозь пальцы, присланъ въ комиссію новый, человѣкъ прямой и строгій, врагъ взяточниковъ и неправды. Онъ требуетъ отчеты, находитъ недочеты, на каждомъ шагу недостающія суммы,—и благопріобрѣтенные дома отбирають въ казну, а Чичикова выгоняють изъ службы. Обыкновенная повѣсть на этомъ-бы и кончилась, но здѣсь это только узелъ поэмы.

Дюжинный человек послѣ такой катастрофы потерялся-бы и заглохъ съ какими-нибудь грошами въ провинціальномъ болотѣ; но Чичиковъ, какъ герой поэмы, не падаетъ подъ ударомъ судьбы, а возстаетъ съ новыми силами.

Стремясь неуклонно къ своей доблестной цѣли, Павелъ Ивановичъ составляетъ новый планъ, смѣлѣе и обдуманнѣе прежняго. Онъ поступаетъ на службу въ таможенную и дѣлается неподкупнымъ чиновникомъ, бичемъ контрабандистовъ. Ревность и бдительность его становится извѣстною начальству, онъ получаетъ повышение, ему даютъ команду для преслѣдованія контрабанды,—и вотъ онъ опять выплываетъ на своемъ челнѣ къ обогащенію. Прочно утвердись на тепломъ мѣстѣ, онъ самъ подаетъ руку контрабандистамъ: брабантскія кружева проходятъ въ огромномъ количествѣ черезъ границу подъ шкурами барановъ, — и у нашего героя снова полмилліона капитала. Цѣль, кажется, достигнута! Но вотъ новый ударъ судьбы. Какъ герои Гомера поссорились за лѣпоудрую дочь жреца аполлонова, такъ и Чичиковъ поборанился съ сотрудникомъ по дѣлу брабантскихъ кружевъ «за какую-то бабенку, свѣжую и крѣпкую, какъ ядреная рѣпа», и обругали другъ-друга поповичами. Товарищъ подаетъ на него тайный доносъ,—и Троя снова ускользаетъ: нажитое съ такимъ умомъ достояніе конфискуютъ, и самъ Павелъ Ивановичъ едва успѣваетъ увернуться отъ уголовного суда. Кто при такомъ страшномъ ударѣ не потерялъ-бы энергіи и не отказался отъ труднаго подвига? Но здѣсь-то и раскрывается вся эпическая мощь героическаго характера, котораго желѣзная сила не слабѣетъ, а только закаляется въ борьбѣ съ препятствіями.

Дѣятельность не умираетъ въ головѣ Чичикова. Закладывая, въ качествѣ повѣреннаго, чье-то имѣніе въ Опекунскій-совѣтъ, онъ узнаетъ, что «по существующимъ по-

ложеніямъ нашего государства, въ славѣ которому нѣтъ равнаго, ревизскія души, окончивши жизненное поприще, числятся однакожъ, до подачи новой ревизской сказки, наравнѣ съ живыми», и принимаются въ залоги. Нашего героя ослѣняетъ въ дохновеннѣйшая мысль, какая только приходила въ человѣческую голову. «Эхъ я Акимъ-простота, сказалъ онъ самъ себѣ, ищу рукавицъ, а обѣ за поясомъ! Да купи я всѣхъ этихъ, которые вымерли, пока еще не подавали новыхъ ревизскихъ сказокъ, пріобрѣти ихъ, положимъ, тысячу, да положимъ, Опекунскій-совѣтъ дастъ по двѣсти рублей на душу: вотъ ужъ двѣсти тысячъ капиталу!» Въ какой героической поэмѣ найдете вы такую колоссальную мысль! Перекрестясь, Чичиковъ приступаетъ къ исполненію своего великаго плана, — и вотъ развертывается передъ нами эпическій разсказъ, обширный, стройный и величавый. Какъ герои Гомера, встаютъ передъ нами русскіе люди на разныхъ ступеняхъ общества, въ различныхъ проявленіяхъ своей жизни и дѣятельности. Къ сожалѣнію, поэма не кончена, и мы не знаемъ, чѣмъ разрѣшилась — бы судьба ея героя: гибнетъ — ли онъ подъ ударами рока, или подобно многострадальному Одиссею водворяется наконецъ въ своей Итакѣ и дѣлается отцомъ семейства и уважаемымъ помѣщикомъ.

Вотъ общій планъ сочиненія. Посмотрите — же теперь на частности: развѣ въ нихъ нѣтъ всѣхъ условій героической поэмы? Второстепенныя лица, группируясь вокругъ главнаго героя, служатъ достойной средою, въ которой развертывается его великій характеръ. Неужели Чичиковъ окруженъ хуже, чѣмъ Агамемнонъ? Отчего Маниловъ, Плюшкинъ и Ноздревъ неприличнѣ Патрокла, Улисса или Терсита? Дамы губернскаго города, куда судьба приводитъ Чичикова, не уступаютъ нетолько смертнымъ, но даже и

бессмертнымъ красавицамъ Гомера. И на Олимпѣ не поднималось такой бури за Париса или Гектора, какая поднялась здѣсь за Павла Ивановича, когда узнали, что онъ миллионщикъ. Никогда Дидона не придумывала такихъ хитростей для привлеченія въ свои сѣти Энея, какъ губернскія барыни для обольщенія Чичикова; никогда Афродита и лилейнораменная Гера не кололи другъ-друга такими булавами, какъ «просто-пріятная дама» и «дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ».

Пиръ въ поэмѣ Гоголя несравненно величественнѣе, чѣмъ у Гомера. Ни въ Илиадѣ, ни въ Одиссеѣ нѣтъ такого роскошнаго празднества, какъ пиръ у полицмейстера, «отца и благодѣтеля города», откуда Чичиковъ пріѣхалъ домой въ такомъ видѣ, что лакей, снимая съ него сапоги, чуть не стащилъ съ ними на полъ и самого барина. Если Аяксъ съѣдаетъ на пирѣ цѣлый «хребетъ вола», то неужели менѣе замѣчателенъ подвигъ Собакевича, который такъ распорядился съ полицмейстерскимъ осетромъ, что оставилъ отъ него одинъ хвостъ? Въ «Мертвыхъ Душахъ» нѣтъ, конечно, такихъ частыхъ битвъ, какъ въ Илиадѣ или Освобожденномъ Іерусалимѣ; но чего стоитъ одно побоище, которое готово было разыгратъ въ домѣ Ноздрева, когда хозяинъ, вооруженный черешневымъ чубукомъ, напалъ на Чичикова съ своими мирмидонами,—и благородному герою пришлось-бы очень плохо, еслибы къ нему не подоспѣла небесная помощь въ образѣ капитанъ-исправника, какъ нѣкогда Аполлонъ сребролукій или Аѳина-Паллада къ своимъ ахеямъ.

Всѣ эпическіе поэты, съ Гомера до Хераскова, любили описывать бури и кораблекрушенія. Съ перваго взгляда подумаешь, что ничего подобнаго не можетъ быть у Гоголя. Но развѣ описаніе проливного дождя, который встрѣ-

тиль Чичикова на пути отъ Манилова, и крушеніе брички отъ неосторожности афтомедона Селифана — уступаютъ сколько-нибудь кораблекрушеніямъ и бурямъ въ классическихъ поэмахъ? Напротивъ, крушеніе экипажа на русской проселочной дорогѣ гораздо вѣроятнѣе и опаснѣе, чѣмъ гибель кораблей на какомъ-нибудь южномъ морѣ. Хорошо было Одиссею попасть въ голубыя, прозрачныя волны; по каково-же пришлось Павлу Ивановичу, когда, при паденіи брички, онъ и руками и ногами шлепнулся въ грязь! Вѣдь сыну лазртову нимфа даетъ покрывало, съ которымъ онъ преспокойно доплываетъ къ берегу и находитъ пріютъ у царицы Ареты; а Чичиковъ въ такомъ видѣ является къ гостепріимной Коробочкѣ, что помѣщица, увидя перепачканнаго гостя, невольно вскрикнула: «Эхъ, отецъ мой, да у тебя-то, какъ у борова, вся спина и бока въ грязи! гдѣ такъ изволилъ засалиться?»

Не менѣе бурь древніе и новыя эпикі любили описывать адъ и тѣни почившихъ. Сколько картинъ замогильной жизни видѣли мы въ поэзіи, начиная съ Данта до Байрона, начертавшаго послѣдній эпизодъ этого рода въ своемъ Каинѣ? Если въ «Мертвыхъ Душахъ» нѣтъ фантастическаго описанія ада, зато сошествіе Чичикова въ Гражданскую-палату, для заключенія узаконенныхъ актовъ о покупке мертвыхъ душъ, отличается не менѣе поразительными образами, яркими красками и мрачною дѣйствительностью. Жрецъ Ѳемида, который дѣлается путеводителемъ смѣлаго героя черезъ трудные переходы до залы присутствія, по словамъ самого Гоголя, напоминаетъ дантова Виргилія. А этотъ предсѣдатель, подобно Зевсу-громовержцу, продляющій и ускоряющій по своему желанію присутствіе, эти наклонившіяся надъ бумагами головы и скрипъ перьевъ, походившій на проѣздъ телегъ по лѣсу, завален-

ному изсохшими листьями, наконецъ эти таинственныя мертвыя души, ради которыхъ Чичиковъ является въ палату,— все напоминаетъ сошествіе древнихъ героевъ въ мрачныя предѣлы классическаго Стикса.

Наконецъ въ героической поэмѣ, по условіямъ теоріи, должно быть чудесное: таково въ Энеидѣ вмѣшательство Эола и Юноны въ судьбу сына анхизова, а въ Илиадѣ участіе боговъ Олимпа во всѣхъ битвахъ и событіяхъ подѣлами Трой. И это мы находимъ въ нашей отечественной эпопеѣ. Что можетъ быть чудеснѣе этихъ мертвыхъ душъ, которыя «окончили въ нѣкоторомъ родѣ свое земное существованіе», а между-тѣмъ невидимо присутствуютъ передъ вами во всей повѣсти и служатъ главнымъ основаніемъ подвиговъ героя, важнѣйшимъ средствомъ его къ достиженію высокой цѣли обогащенія? И кому не покажется сверхъ-естественнымъ, что души крестьянъ, давно уже совершившихъ свое жизненное поприще, существуютъ еще за стиковой гранью Гражданской-палаты; незримо живутъ въ грудахъ бумагъ и ревизскихъ сказокъ, таинственно прикованы еще къ землѣ и не смѣютъ вкусить успокоенія въ Елисейскихъ-поляхъ, пока не прозвучитъ труба новой ревизіи и не освободитъ ихъ отъ невидимаго заключенія въ судебныхъ вертепахъ! Кто не увидитъ чудеснаго въ томъ, что эти мертвыя души продолжаютъ еще невидимо платить за себя подати и отправлять повинности, служить предметомъ сдѣлокъ и процессовъ, средствомъ обогащенія и спекуляціи, и даже вводятъ въ сомнѣніе Коробочку—не годятся-ли онѣ еще на что-нибудь и въ домашнемъ хозяйствѣ! Все это въ высшей степени чудесно, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствительно и вполне естественно,— выгода, какой не имѣлъ рѣшительно ни одинъ изъ древнихъ эпическихъ поэтовъ.

Мы могли-бы сказать, что самыя подробности въ сочиненіи Гоголя отличаются характеромъ эпическимъ, что на примѣръ эпизодъ о капитанѣ Копѣйкинѣ не уступаетъ ни одному изъ эпизодовъ классическихъ поэмъ, а описаніе бритвенной шкатулки Чичикова даже превосходитъ знаменитое изображеніе щита ахиллова; но это увлекло-бы насъ далеко за предѣлы нашего краткаго очерка. Изъ сказаннаго уже нами легко можно видѣть, что планъ этой современной поэмы, характеръ и дѣятельность героя, чудесная сторона разсказа и даже подробности,—все оправдываетъ тѣхъ почитателей Гоголя, которые въ жару своего энтузіазма къ автору «Мертвыхъ Душъ» величали его «россійскимъ Гомеромъ».

ПЕТРОВСКІЙ ПЕРЕВОРОТЪ.

(Исторія Петра Великаго Н. Устрялова).

Les époques ont leurs sacrifices
et victimes.

A. Lamartine.

Появленіе въ печати шестаго тома историческаго труда Устрялова возбудило общее любопытство во всѣхъ, кого только интересуесть наша отечественная исторія. Въ этомъ томѣ помѣщено знаменитое дѣло царевича Алексѣя Петровича, бывшее до-сихъ-поръ для публики нашей какою-то тайной, о которой существовали болѣе или менѣе темныя и загадочныя понятія. Поэтому совершенно естественно то участіе, съ какимъ всѣ читающіе люди встрѣтили книгу Устрялова.

Съ первыхъ дней своего появленія въ публикѣ, эта книга возбудила самыя разнородныя, противорѣчащія толки о значеніи эпохи Петра Великаго и вызвала снова на горячее обсужденіе вопросы, не только давно всѣмъ знакомые, но по-видимому рѣшенные или по-крайней-мѣрѣ значительно исчерпан-

ные. Давно уже замолкшая борьба безусловных почитателей и непреклонных противников Петра опять возобновилась въ различныхъ кружкахъ нашей образованной публики. Снова привелось намъ слышать множество болѣе или менѣе рѣзкихъ мнѣній за реформу и противъ реформы Преобразователя; и въ этихъ горячихъ толкахъ ясно обнаружилась теперь несостоятельность тѣхъ крайнихъ воззрѣній, какія въ былые годы печатно проводились въ нашей литературѣ. Время сдѣлало свое дѣло. Въ однихъ породило оно убѣжденіе въ совершенной ненужности маскироваться именемъ Петра для разъясненія современныхъ вопросовъ русской жизни; другимъ показало, что, при всѣхъ недостаткахъ петровской реформы, мы не въ-состояніи уже воротиться къ временамъ кошихинскихъ порядковъ. Рѣзкія крайности замѣтно сгладились, и для Петра настало время серьезной исторической оцѣнки, безъ раболѣпныхъ поклоненій и безъ упорной непріязни.

Въ ряду разнородныхъ мнѣній, возбужденныхъ книгою Устрялова, больше всего слышались теперь сожалѣнія о царевичѣ, какъ невинномъ страдальцѣ,—и многіе, въ понятномъ негодованіи на суровость отца, безжалостно преслѣдующаго сына и обрекающаго на страшныя пытки, вмѣстѣ съ тѣмъ начали несправедливо судить о самомъ значеніи Петра въ государственномъ отношеніи и подъ темнымъ пятномъ семейной суровости не хотѣли уже видѣть и его великихъ дѣлъ. Во многихъ кружкахъ стало высказываться мнѣніе, что для Петра настало время иной исторіи и онъ долженъ будто-бы сойти съ пьедестала, на который такъ высоко поставили его рьяные приверженцы запада и поклонники европейской цивилизаціи.

Что для эпохи Петра I настало время серьезнаго историческаго суда, въ этомъ нельзя сомнѣваться; но съ другой

стороны мы убѣждены, что никакой справедливый судъ не можетъ не признать заслугъ этого историческаго лица. Въ наше время несправедливость обонхъ, до-сихъ-поръ господствовавшихъ у насъ взглядовъ на отношенія Россіи къ западной Европѣ—съ каждымъ днемъ становится очевиднѣе; и люди честныхъ мнѣній, не окристаллизовавшіеся къ упорномъ застоѣ, сближаются въ одномъ и томъ-же взглядѣ на эпоху Преобразователя. Безпристрастное мнѣніе о значеніи Петра и его времени начинаетъ прочно устанавливаться въ развитой средѣ нашей публики.

Ни о чемъ можетъ-быть такъ много не говорили у насъ, какъ о значеніи эпохи петровской реформы, и послѣ долгихъ споровъ понятія о ней въ настоящее время значительно выяснились. Важный вопросъ о томъ, до какой степени необходимъ былъ петровскій переломъ въ русской жизни, и необходимъ-ли онъ былъ въ тѣхъ формахъ и въ тѣхъ крутыхъ размѣрахъ, какъ онъ совершился, — вопросъ давно уже разобранный и исчерпанный.

Долгій общественный застой, порожденный разными обстоятельствами, составляетъ самое характеристическое и оригинальное явленіе въ нашей исторіи. Вѣковое отчужденіе отъ образованнаго міра породило въ нашемъ обществѣ ту замкнутость и неподвижность, питаемая предразсудками, поддерживаемая внутри и извнѣ, которыя должны были нравственно погубить общество въ безвыходномъ омертвѣніи или очистить его какой-нибудь политической бурей, какимъ-нибудь потрясающимъ переворотомъ. Читая записки Кошкина или Домострой попа Сильвестра, пересматривая старые акты собраніе Археографической-коммисіей или Статейные списки русскихъ посольствъ—ясно видишь, какая страшная плѣсень покрыла въ продолженіе вѣковъ русскую жизнь, какимъ томительно-невыносимымъ удушьемъ давила она все

общество, какъ подѣ нею гложло и мертвѣло все живое и свѣтлое. И ничто не могло пробить этой одеревенѣлой коры, этой неподвижно стоявшей массы. Напрасно Иванъ IV громилъ и терзалъ ее съ своими потѣшными опричниками, нѣмцами отравителями, татарскими и ливонскими временщиками, подгребая уголья подѣ корчившихся на огнѣ боярѣ и истребляя цѣлые города подѣ долбнею; напрасно Борисъ Годуновъ призывалъ толпы иноземцевъ, формировалъ нѣмецкіе полки, посылалъ за границу молодыхъ людей и мечталъ объ основаніи въ Москвѣ университета; напрасно бушевала страшная буря междоусобицъ съ Лжедмитріями, тушинскими ворами, польскими и своими разбойниками, потрясая вѣковой порядокъ избраніемъ Василія Шуйскаго и королевича Владислава: старый застой, взволнованный на время, опять устанавливался въ прежней силѣ, прорубленная кора вновь срасталась, прежній неподвижно удушливый бытъ опять охватывалъ недвигающуюся массу. Казалось, обществу суждено было погибнуть въ этой душевной средѣ, сдѣлаться жертвой собственнаго разложенія, подобно какой-нибудь Кипчакской — ордѣ; но Россія на самомъ дѣлѣ не похожа была на татарскія орды, въ народѣ рускомъ подѣ наружной апатіей таилась юная мощь, подѣ ледяной корою охватившаго общество застоя бились живымъ ключемъ молодые силы. Общество не умирало, не дряхлѣло, а только спало тяжелымъ сномъ, готовое пробудиться отъ какого-нибудь сильнаго потрясенія. И въ исторіи Россіи какъ-будто повторилась извѣстная сказка о богатырѣ, котораго врагъ изрубилъ въ куски во время сна, а другъ, найдя разбросанные члены, сложилъ ихъ, полилъ мертвой водой — и они срослись, вспыснулъ принесенной издалека живой водой — и богатырь всталъ, схватилъ свое оружіе и пустился на новые подвиги, съ новыми свѣжими силами. Въ самомъ

дѣлѣ, послѣ кроваваго орошенія мертвой водой сплоченныхъ удѣльныхъ членовъ государства при Иванѣ IV и въ междуцарствіе, оставалось вспрыснуть Россію живой струею европейской жизни—и это самое сдѣлалъ Петръ.

Царствованіе Петра отличается замѣчательнымъ сходствомъ съ эпохою французской революціи. Тамъ и здѣсь это была политическая буря, которая потрясла народъ, очистила его общественную атмосферу и приготовила его къ новой жизни. Революція сокрушила во Франціи феодальныя цѣпи, какими съ давняго времени опутана была нація, очистила ее отъ болѣвшихъ цѣлые вѣка общественныхъ ранъ; реформа Петра точно также сокрушила ржавый русскій домострой съ его дикими порядками, потрясла и сломала гнилыя основы, на которыхъ опиралась китайская стѣна, отдѣлявшая насъ отъ европейской семьи. Въ нашемъ Петрѣ сосредоточивались всѣ револютивныя силы, которыми обладалъ французскій Конвентъ. Разница въ томъ только, что во Франціи революція родилась во имя большинства, и потому представителями ея были люди, порожденные и воспитанные массою — Дантоны, Сень-Жюсты; въ Россіи-же переворотъ совершился во имя жаждущаго новой жизни меньшинства противъ неподвижно-устоявшейся массы — и оттого въ главѣ ея явился самъ царь. Этимъ самымъ, по особенностямъ историческихъ судебъ Россіи, нашъ переворотъ составляетъ явленіе безпримѣрное, кромѣ развѣ неудачнаго повторенія его въ Турціи при султанѣ Махмудѣ II.

Въ царствованіи Петра ясно видны всѣ элементы радикальной реформы, которая потрясла общественный бытъ во имя новой идеи и вела ожесточенную борьбу съ отжившимъ порядкомъ во имя просвѣщенія и цивилизаціи. Съ толпою людей, вызванныхъ изъ различныхъ классовъ об-

щества, энергическихъ и безстрашныхъ, набранныхъ дома и за-границею, изъ пирожниковъ, бѣглыхъ нѣмецкихъ солдатъ, стрѣльцовъ, съ князь-папами и князь-игуменьями, съ путами и арабами, Петръ идетъ къ своей цѣли съ тою-же настойчивостью, съ какою шелъ и французскій Конвентъ, окруженный клубистами, эксъ-аббатами, марсельскими выходцами и женщинами въ родѣ Теруанъ-де-Мерикуръ. Тотъ и другой энергически сокрушаютъ все, что только встрѣчалось имъ на пути останавливающаго или замедляющаго ходъ. Вспомните энергію Конвента: когда французскіе города были заняты врагами, внутри страны грозно поднималось вандейское возстаніе, предѣламъ государства вездѣ грозилъ непріятель, — онъ создавалъ средства обороны, находилъ деньги, организовалъ арміи, отыскивалъ полководцевъ — и поражаемый, доводимый часто до крайности, все одолевалъ героической дерзостью и настойчивостью. Не то-ли видимъ и въ Петрѣ! Въ борьбѣ со шведами и турками, съ войскомъ собраннымъ на скорую руку, предводимымъ нѣмецкими искателями приключеній, разбитымъ Карломъ, чуть не истребленнымъ визиремъ на Прутѣ, онъ смѣло переноситъ столицу въ непріятельскую, только-что захваченную землю, льетъ пушки изъ церковныхъ колоколовъ, строитъ флоты на чужихъ моряхъ — и наконецъ торжествуетъ.

Какъ французская революція, такъ и царствованіе Петра имѣютъ свои драматическіе эпизоды и кровавыя перипетіи: тамъ взятіе Бастиліи и Тюльери, здѣсь стрѣлечіе бунты и неистовства раскольниковъ, тамъ кровавыя событія сентябрьскихъ дней, тутъ казни на Дѣвичьемъ-полѣ; тамъ клубы и республиканскіе праздники, здѣсь оргіи въ Лефортовѣ и шутовскія потѣхи въ родѣ сватъбы князь-патріарха Бутурлина. Застѣнокъ и внугъ играли у насъ ту-же самую роль, какъ во Франціи гильотина. Наконецъ въ ту и другую

эпоху пали царственныя жертвы, которыхъ революція встрѣтила на своемъ кровавомъ пути: тамъ Марія Антуанета, принцеса Елизавета и Людовикъ XVI, здѣсь царица Евдокія Федоровна, царевна Софья и царевичъ Алексѣй Петровичъ. Французская революція перешагнула чрезъ эшафотъ короля и королевы, Петръ не остановился передъ тюрьмою жены и сестры и передъ застѣнкомъ собственнаго сына.

Читая исторію Петра, на каждомъ шагѣ невольно вспоминаешь французскую революцію: такъ много общаго въ характерѣ этихъ замѣчательныхъ эпохъ. Мы не думаемъ проводить между ними полную параллель, а хотимъ только указать на это сходство, съ тою цѣлію, что на дѣла Петра Великаго слѣдуетъ смотрѣть, какъ на дѣйствія крутаго переворота, и умѣть отдѣлять принесенные имъ плоды отъ всѣхъ неизбѣжныхъ крайностей, связанныхъ съ подобными эпохами. Не споримъ, что и безъ кровавой реформы Петра Россія рано или поздно вышла-бы на европейскую дорогу и можетъ-быть пошла по ней гораздо тверже и сознательнѣе, точно также какъ Франція могла-бы найти лучшія формы государственной и народной жизни безъ той страшной ломки, какою ознаменована ея первая революція. Но этого не случилось: по той и другой странѣ суждено было пройти кровавой бурѣ, которая, освѣжая народы отъ долгаго застоя и готовя ихъ къ новой жизни, вырвала можетъ-быть изъ ихъ быта и много хорошаго. Но что-же дѣлать противъ исторіи! Конвентъ и Петръ, энергически ломая всѣ ветхія основы стараго быта, часто задѣвали въ этой ломкѣ и то, что могло-бы еще держаться, даже то, чего совсѣмъ не слѣдовало-бы разрушать. Но это обыкновенное зло революцій, о которомъ можно жалѣть, но котораго нельзя избѣжать въ лихорадочномъ жару народнаго перелома.

Конечно, крутые перевороты ведутъ обыкновенно къ реакціи, вызываютъ не менѣе упорное, хотя иногда только пассивное, сопротивленіе; но это не уничтожаетъ ихъ историческаго значенія. Противники Петра, какъ и его почитатели, не рѣдко указываютъ на Францію. Скажите, говорятъ они: какіе плоды принесла французская революція? что выиграла Франція, пройдя чрезъ рядъ переломовъ отъ Наполеона I до Наполеона III? куда дѣвались уставленія Конвента и что осталось отъ энергическихъ мѣръ Дантона и Робеспьера? Скажите, прибавляютъ они, обращаясь къ эпохѣ Петра: что дала народу эта крутая реформа, совершенная во имя европейской цивилизаціи? развѣ большинство не осталось въ той-же темнотѣ и неразвитости, въ какихъ оно прозябало и прежде, въ московскую эпоху? Но на всѣ эти вопросы можно отвѣчать другими вопросами, не менѣе вызывающими на мысль: развѣ, не смотря на всѣ несчастія, Франція нашего времени похожа на феодальную, забитую Францію Людовика XV, населенную только маркизами и рабами, аббатами и нищими? развѣ не возвысился въ ней общій уровень народнаго развитія и самосознанія? Развѣ и у насъ, не смотря на утрату нѣкоторыхъ полезныхъ учрежденій, не видать общественнаго успѣха? развѣ настоящая Россія не ушла безвозвратно отъ порядковъ Домостроя, когда общій гнетъ лежалъ на всей домашней жизни? Нѣтъ, за Петра протестуютъ всѣ наши современные успѣхи и надежды.

Притомъ, говоря о Петрѣ, необходимо отдѣлять въ немъ человека отъ государя и временныя мѣры его отъ постоянныхъ и коренныхъ. Какъ реформаторъ, онъ не останавливался ни передъ чѣмъ, что только лежало поперекъ избранной имъ дороги, беспощадно ломалъ всѣ перекладыны, подставляемыя ему подъ ноги реакціей,—была-ли это древ-

няя столица, вѣковой законъ, законная жепа, народный обычай, освященный временемъ уставъ, первородный сынъ. Съ холодной безпощадностью ломалъ онъ все, что только покушалось остановить ходъ его реформы. Конечно, многія мѣры его были слишкомъ круты и теперь вовсе не кажутся необходимыми. Изъ ненависти ко всему старомосковскому онъ уничтожилъ, на примѣръ, освященный вѣками русскій судъ и, замѣнивъ народныхъ цѣловальниковъ полу-нѣмецкой системой, подавилъ въ народѣ ту живую струю, до которой потомъ пришлось ему доходить инымъ продолжительнымъ путемъ. Изъ нелюбви къ оппозиціонной Москвѣ онъ перенесъ столицу изъ естественнаго центра, обозначеннаго всею нашею исторіей, въ болотистый и пустынный уголъ далекаго побережья и тѣмъ парализовалъ внутреннія силы великаго народа, можетъ-быть и не предвидя, что столица останется тамъ надолго. Но при-всѣмъ-томъ новая исторія наша должна оправдать Петра и признать темныя стороны его реформы за неизбежное зло, свойственное всѣмъ переворотамъ, которые, выпалывая изъ народной жизни сорныя травы, вмѣстѣ съ тѣмъ выдерживаютъ питательные колосья, а мѣстами приминаютъ и самую почву.

Книга Устрялова, представляя въ новыхъ чертахъ характеръ Петра, какъ государственнаго дѣятеля и реформатора, въ лицѣ котораго Россія во что-бы ни стало хотѣла выйти изъ дико-татарскаго мрака на дорогу свѣтлой европейской жизни, въ тоже время проливаетъ новый свѣтъ и на личный характеръ царя какъ человека. Напечатанный теперь процессъ царевича Алексѣя Петровича, еще больше чѣмъ дѣло царицы Евдокіи Ѳеодоровны и Степана Глѣбова, освѣщаетъ образъ грознаго царя. Давно-ли въ Петрѣ видѣли только «вѣчнаго работника на тронѣ», который

въ скромномъ кабинетѣ, за токарнымъ столикомъ, мирно выдѣлывалъ костяныя паникадила для петербургскихъ церквей, съ топоромъ въ рукахъ плотничалъ на галерной верфи среди матросовъ, давалъ чинить Катенькѣ свой домашній камзолъ, добродушно заѣзжалъ отъ обѣдни выпить рюмку анисовки въ казенной австеріи, и если иногда брался за свою историческую дубинку и собственноручно наказывалъ упрямецъ или лѣнивцевъ, то немедленно послѣ того обнималъ ихъ и награждалъ своимъ примиряющимъ поцѣлуемъ. Но вотъ открываются факты, представляющіе эту грозную личность вовсе не въ такомъ буклическомъ свѣтѣ. Довольно вспомнить одинъ случай. Въ письмѣ къ сыну, адресованномъ въ Неаполь, 10 іюля 1717 года, Петръ говоритъ: «Я тебя обнадеживаю и обѣщаю Богомъ и судомъ его, что никакого наказанія тебѣ не будетъ; но лучшую любовь покажу тебѣ, ежели воли моей послушаешь и возвратишься». И послѣ этого царевичъ, возвратясь въ Россію, встрѣчаетъ торжественное отрѣшеніе отъ престола, арестъ и тюрьму, застѣнокъ въ Петропавловской-крѣпости, дыбу и вѣнутъ въ присутствіи отца. Если участь царевича напоминаетъ смерть старшаго сына Ивана IV, то и въ характерѣ Петра открываются черты очень близкія къ личности Грознаго: не даромъ Петръ такъ уважалъ своего предшественника въ реформѣ. Конечно, мы не должны забывать, что все это происходило въ то страшное время, когда еще въ самой свѣтлой части Европы нравы ужасаютъ страшной жестокостью, и что черезъ три четверти вѣка позднѣе такіе-же свирѣпства повторились во Франціи, пережившей цѣлые вѣка цивилизаціи. Но при всемъ-томъ нельзя не содрогаться, читая описаніе дѣла царевича Алексѣя: при молчаніи и тайнѣ застѣнка, при личномъ присутствіи Петра на пыткахъ, оно несравненно

ужаснѣе, чѣмъ процессъ Людовика XVI и грозныя подробности 21-го января.

Мы сказали, что петровская революція имѣла своего рода *procès du roi*—это судъ и смерть царевича, столько же трагическіе, какъ и судьба несчастнаго короля. Въ самомъ-дѣлѣ положеніе этихъ двухъ мучениковъ революціи и даже ихъ личный характеръ представляютъ много общаго. Тотъ и другой поставлены были судьбою какъ преграды революціи, выражая отжившее начало, стоявшее на пути револютивнаго стремленія. Противодѣйствующіе элементы въ ту и другую эпоху были почти одинаково энергичны: кровавыя событія стрѣлецкихъ бунтовъ, частые заговоры противъ Петра, противодѣйствіе духовенства и боярства, пассивная, но въ то же время упорная оппозиція массы—выказали можетъ-быть не менѣе силъ, чѣмъ противореволюціонная партія во Франціи. Эмигранты петровской реформы, по ненависти къ иноземнымъ нововведеніямъ, бѣжали не за-границу, а въ глушь раскольниковыхъ скитовъ и монашескихъ келій; но суздальскій Покровскій монастырь интриговалъ точно такъ-же, какъ и Кобленцъ. Заговоры Шакловитаго и Циклера были не хуже заговора версальскихъ *chevaliers du poignard*; *казанье* митрополита Стефана, если не краснорѣчіемъ, такъ по-крайней-мѣрѣ смѣлостію не уступало оппозиціоннымъ рѣчамъ аббата Мори и обличительнымъ стихамъ Андрея Шенъе. Во Франціи и въ Россіи въ главѣ реакціонной партіи стояло по одной энергической женщипѣ, каковы Марія-Антуанета и царица Софья, между-тѣмъ какъ главные предводители оппозиціи Людовикъ XVI и царевичъ Алексѣй были только пассивными ея представителями. Личный характеръ обоихъ жертвъ, черезъ трупы которыхъ перешагнула революція, съ перваго взгляда поражаетъ удивительнымъ сходствомъ.

Въ жизни Людовика и Алексѣя Петровича мы находимъ однѣ и тѣ-же черты. Оба они получили воспитаніе далеко не достаточное для правителей великаго государства, выросли въ пошлой и развратной средѣ тогдашней дворской челяди; оба не любили военного дѣла и предпочитали ему скромныя занятія слесарнымъ мастерствомъ, повѣркою хозяйственныхъ книгъ, оба симпатизировали духовенству и монахамъ и любили больше всего на свѣтѣ—одипъ свою Марію-Антуанету, другой Ефросинью Ѳеодоровну, на которыхъ сосредоточилась ихъ послѣдняя привязанность. Бѣгство въ Вѣну царевича Алексѣя и бѣгство въ Вареннъ Людовика XVI, искавшихъ спасенія отъ постоянно напиравшей революціи—представляютъ какъ-будто два явленія одной и той-же драмы, которая и заканчивается совершенно одинаковыми послѣдствіями, арестомъ Людовика, сначала въ Тюльери, потомъ въ Тамплѣ, и заключеніемъ царевича, сперва въ Москвѣ и наконецъ въ казематахъ Петропавловской-крѣпости. Самый процессъ обоихъ узниковъ, при всемъ различіи въ его формахъ, поражаетъ чертами чрезвычайно-сходными. Все это показываетъ, какъ много общаго въ той и другой эпохѣ.

Что Алексѣй Петровичъ былъ очистительной жертвой, въ лицѣ которой русская революція отрубила звѣно, скрѣплявшее прошедшее съ будущимъ, это видно изъ смысла всего дѣла царевича. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Алексѣй былъ представителемъ отжившаго начала, но въ то-же время видно, что это былъ представитель пассивный и слабый. Старая партія видѣла въ немъ своего естественнаго предводителя; стрѣльцы еще въ 98-мъ году открыто говорили, что онъ не любитъ нѣмцевъ; духовенство и всѣ приверженцы старины смотрѣли на него съ надеждой и любовью. Царевичъ съ своей стороны не скрывалъ отвра-

щенія къ революціи: онъ не любилъ Петербурга, не любилъ нововведеній и не разъ высказывалъ, что если получить когда-нибудь власть, то отмѣнить всѣ отцовскія преобразованія, переѣхать въ Москву, уничтожить флотъ, удалить иностранцевъ. Трехлѣтнее пребываніе за-границей не измѣнило его мыслей: онъ остался тѣмъ-же приверженцемъ старины, тѣмъ-же противникомъ западныхъ порядковъ.

Петръ, очевидно небрежный въ воспитанію сына, увидѣлъ наконецъ въ немъ поборника стараго, ненавистнаго порядка, противника своихъ любимыхъ идей, «разорителя дѣлъ своихъ», какъ говоритъ онъ самъ въ своемъ «Послѣднемъ Напоминаніи». Съ неумолимой суровостью революціонера, готоваго всѣмъ жертвовать своей любимой идеѣ, онъ въ знаменитомъ письмѣ, поданномъ сыну въ день погребенія принцесы Шарлоты, обвиняя его преимущественно въ нелюбви къ военному дѣлу, грозитъ лишить наслѣдства и говоритъ, что видитъ въ немъ человека «весьма на правленіе дѣлъ государственныхъ непотребнаго». Угрожая отринуть сына, «яко удъ гангранный», царь въ заключеніе прибавляетъ: «лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный». До какой степени самъ Петръ былъ неправъ, воспитавъ сына небрежно и такимъ-образомъ невольно сдѣлавъ изъ него приверженца старой партіи, до какой степени въ гибели царевича участвовали Екатерина и Меншиковъ и почему имъ необходима была смерть его — мы говорить не будемъ. Какъ-бы ни было, но Алексѣй симпатизировалъ старому порядку, не любилъ отца, ненавидѣлъ всѣ его дѣла, — и еслибы судьба привела его на престолъ, то безъ сомнѣнія онъ обратился-бы къ прежнему ходу дѣлъ. Мы не думаемъ, конечно, чтобы при всѣхъ его усиліяхъ къ уничтоженію реформы Россія могла повернуть опять на старую дорогу: сдѣланный ею шагъ былъ

слишкомъ необходимъ и рѣшительнъ, чтобъ послѣ него была какая-нибудь возможность вернуться къ прежнему быту. Мы хотимъ только сказать, что Петръ видѣлъ въ сынѣ своемъ предводителя контръ-революціи и съ фанатизмомъ реформатора не остановился передъ мыслью пожертвовать имъ. Это такъ-же понятно, какъ и дѣйствія какого-нибудь Дантона. Такимъ-образомъ въ Алексѣѣ мы видимъ несчастную жертву нашей революціи, столько-же достойную сожалѣнія, но и столько-же слабую, какъ Людовикъ XVI. Итакъ изъ документовъ петровской эпохи, извѣстныхъ въ настоящее время, мы можемъ составить понятіе о значеніи реформы Петра, о личномъ характерѣ царя и его сына. Во всемъ этомъ исторія теперь можетъ уже произнести справедливый судъ. Но что касается самаго процесса царевича Алексѣя Петровича, — здѣсь факты не представляютъ еще достаточной полноты для окончательныхъ выводовъ историка.

Мы знаемъ положительно, до какой степени царевичъ Алексѣй не любилъ военной службы, какую антипатію питалъ онъ къ дѣламъ отца, какъ преданъ былъ старой партіи и монахамъ; но мы не имѣемъ еще достаточныхъ основаній судить, дѣйствительно-ли онъ думалъ стать открыто въ главѣ реакціи или въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ отказаться отъ престола и принять монашество. На знаменитое письмо Петра, грозившее лишеніемъ наслѣдства, онъ отвѣчалъ письменной просьбою о дозволеніи самому отказаться отъ престола. Но была-ли откровенна эта просьба или, что вѣроятнѣе, онъ таилъ заднюю мысль о возможности нарушить впослѣдствіи это обѣщаніе и сбросить клобукъ — этотъ вопросъ не рѣшенъ окончательно ни Устряловымъ, ни его критиками. Признаніе въ послѣднемъ намѣреніи было вынуждено у него уже при слѣдствіи, 18 февраля

1618 г. Самыя письма его къ отцу, изъ которыхъ въ одномъ онъ проситъ дозволенія отречься отъ престола, а въ другомъ объявляетъ, что «желаетъ монашескаго чина», ничего не доказываютъ.

Что царевичъ былъ дурно воспитанъ — это не подлежитъ сомнѣнiю. До девяти лѣтъ онъ былъ подъ надзоромъ матери, потомъ въ рукахъ невѣжественнаго Вяземскаго и развратнаго Нейгебауера. Влiянiе умнаго и образованнаго Гюйсена не могло уже отклонить его отъ полученныхъ въ дѣтствѣ наклонностей, отъ симпатiи къ старой партiи и монахамъ. Учился онъ дурно, безъ всякой системы: семнадцати лѣтъ твердилъ еще нѣмецкiя склоненiя и только на 18-мъ году принялся за французскiй языкъ. Отношенiя его къ женѣ, довольно-темныя въ исторiи Устрялова, выяснились нѣсколько въ замѣчательной лекцiи, читанной Погодинымъ въ залѣ петербургскаго Пассажа. Упреки въ развратѣ падаютъ на царевича со стороны Петра, а собственныя признанiя его въ этомъ вынуждены только впоследствии или пыткой, или тѣми обстоятельствами, при какихъ онъ говорилъ объ этомъ въ Вѣнѣ цесарскому вице-канцлеру Шенборну. Что касается связи съ Ефросиньей и намѣренiя жениться на ней, то можно-ли упрекать въ этомъ царевича, когда передъ глазами его былъ примѣръ отца, который не стѣснялся тѣмъ, что его жена еще не лежала въ могилѣ, какъ принцеса Шарлота.

Спрашивается: имѣемъ-ли мы достаточно данныхъ на то, чтобы въ настоящее время произносить окончательное сужденiе надъ царевичемъ Алексѣемъ и рѣшить его дѣло съ историческимъ безпристрастiемъ? По нашему мнѣнiю, не смотря на обилiе документовъ, собранныхъ Устряловымъ, время для подобнаго суда еще не настало. Съ одной стороны исторiя не вполне еще опредѣлила мѣру участiя

Екатерины и Меншикова въ дѣлѣ Петра съ сыномъ; а съ другой нѣтъ возможности справедливо обсуживать процессъ, въ которомъ всѣ данныя состоятъ почти изъ однихъ показаній слѣдственнаго дѣла, отобранныхъ у подсудимыхъ съ виски и подъ кнутомъ. Могутъ-ли имѣть какой-нибудь вѣсъ показанія, вынужденныя муками! Что значать подобныя признанія въ дѣлѣ, гдѣ гибель обвиненныхъ по всѣмъ вѣроятіямъ рѣшена уже была заранѣе, въ которомъ, говоря словами Погодина, повторилась сцена между волкомъ и ягненкомъ! Едва-ли безпристрастный историкъ рѣшится судить когда-нибудь на основаніи однихъ показаній обреченныхъ на гибель жертвъ, хотя-бы эти признанія и не были вынуждены пыткой.

Между-тѣмъ въ книгѣ Устрялова мы находимъ постоянно такіе приговоры: онъ безпрестанно ссылается на вынужденныя показанія, какъ на положительно-несомнѣныя свидѣтельства, и снокойно дѣлаетъ изъ нихъ свои выводы. Такой странный пріемъ, недостойный серьезнаго историческаго труда, съ перваго взгляда непріятно поражаетъ въ его книгѣ, и мы удивляемся, какъ мало наша критика обратила на это вниманія. Устряловъ часто обнаруживаетъ промахи, ничѣмъ необъяснимые. «Царевичъ самъ пишетъ въ откровенномъ показаніи, дней за пять до кончины», говоритъ онъ и на этомъ пресерьозно основываетъ свои заключенія. А между-тѣмъ это «откровенное показаніе» писано царевичемъ 22 іюня, тогда какъ 19-го ему дано было въ застѣнкѣ двадцать-пять ударовъ кнутомъ. Хорошо откровенное показаніе, хорошъ и фактъ для выводовъ историка! И на подобныхъ документахъ основаны многія сужденія Устрялова о поведеніи царевича. Таково напримѣръ показаніе Кикина, который говорилъ будто-бы Алексѣю Петровичу, уговаривая его притворно постричься:

«вѣдь клобукъ не гвоздемъ къ головѣ прибить». Таковъ и совѣтъ князя Василя Долгорукова, при полученіи царевичемъ отцовскаго посланія: «давай писемъ хоть тысячу, еще когда что будетъ; старая пословица: улиа ѣдетъ, коли-то будетъ. Это не запись съ неустойкою, какъ мы прежь сего межъ себя даывали». Оба эти показанія продиктованы кнудомъ. Вообще сужденія нашего историка строятся на такомъ-же шаткомъ основаніи и потому не заслуживаютъ полного довѣрія. Такимъ-образомъ, если въ первыхъ томахъ исторіи Устрялова критика показала нѣкоторыя натяжки, какъ напримѣръ извѣстное происшествіе съ астролябией, которымъ авторъ хотѣлъ доказать ничтожность вліянія Лефорта на развитіе Петра, то здѣсь произвольные выводы являются у него гораздо чаще.

Понятно, что критика, не находя у Устрялова ни особеннаго таланта историческаго изложенія, ни ученой проницательности, не можетъ считать его книгу серьезнымъ историческимъ сочиненіемъ. Въ глазахъ будущаго историка трудъ его будетъ только матеріаломъ въ дѣлѣ царевича Алексѣя Петровича, но и матеріаломъ далеко не полнымъ, по бѣдности источниковъ иностранныхъ, и не очищеннымъ критикою, а только перепечатаннымъ два раза, — сперва въ связи, а потомъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній. Конечно, имѣя въ рукахъ значительное количество неизвѣстныхъ документовъ, Устрялову трудно было удержаться отъ искушенія издать ихъ именно въ видѣ исторіи; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ подобному изданію сухихъ матеріаловъ въ-самомъ-дѣлѣ можно было дать названіе исторіи.

МЕРТВЫЕ ДУШИ БОЛЬШАГО СВѢТА.

(«ВЪ ОЖИДАНИИ ЛУЧШАГО», РОМАНЪ В. КРЕСТОВСКАГО).

Русская литература, представляя много картинъ и портретовъ изъ разныхъ слоевъ нашего общества, до сихъ поръ очень бѣдна произведеніями изъ быта высшаго круга, изъ жизни такъ называемаго большаго свѣта. Всѣ другія среды постоянно давали канву для нашихъ талантовъ. Съ легкой руки фонвизинскаго «Недоросля» и до «Записокъ Охотника» нашъ провинціальный бытъ доставилъ цѣлый рядъ типовъ изъ мелкой помѣщичьей жизни, во всѣхъ ея оттѣнкахъ, со всѣми слѣдами нашего историческаго развитія. Григоровичъ и Писемскій познакомили насъ съ жизнью русскаго крестьянина, можно сказать «наканунѣ» эпохи измѣненія его быта и возрожденія его гражданской самостоятельности. Въ комедіяхъ Островскаго, въ лицѣ русскаго купца, явился предъ нами типъ стараго русскаго человѣка, съ остатками до-петровскаго быта, со всѣми началами уцѣлѣвшаго въ немъ ветхаго Домостроя. Наконецъ въ произведеніяхъ художника, положившаго осно-

ваніе новой школы въ нашей литературѣ, прошли передъ нами яркія картины темнаго провинціального и городского быта, во всемъ разнообразіи, со всеми этими мертвыми душами, въ которыхъ или никогда не просыпалась, или когда-то замерла жизнь и заглохли духовныя силы. Въ поэмѣ Гоголя отразилась вся пошлость, порожденная тѣмъ переходнымъ состояніемъ общества, когда старая допетровская гниль смѣшалась съ наплывомъ чужой плѣсени, отжившая кремлевская лѣнь Обломовыхъ столкнулась съ дѣятельностью Чичиковыхъ и отразилась на различныхъ ступеняхъ общества, кромѣ такъ называемаго большого свѣта. Одинъ этотъ большой свѣтъ оставался въ сторонѣ, почти не тронутый въ нашей литературѣ. Изрѣдка только писатели наши приподымали край завѣсы, отдѣлявшей этотъ таинственный міръ, и приглашали насъ взглянуть на него или съ великосвѣтскими донъ-кихотами Соллогуба, или съ желчнымъ вольнодумцемъ Чацкимъ, или съ аристократической сестрицей Обломова, лѣливой мадамъ Бѣловодовой. Несмотря на кратковременность такихъ визитовъ въ великосвѣтскіе салоны, мы однакожь догадывались, что въ этомъ кругу, такъ легко повидимому усвоившемъ западную цивилизацію, таится корень нашей общественной пустоты, что изъ него-то именно спускается та пошлость, какую мы видѣли на другихъ ступеняхъ нашей жизни.

Отчего-же этотъ большой свѣтъ такъ мало обращалъ на себя вниманія нашей литературы? отчего у насъ, при богатствѣ и разнообразіи талантовъ, до сихъ-поръ не было полныхъ картинъ его быта и вѣрныхъ, оконченныхъ портретовъ его представителей? Оттого-ли это, какъ говорятъ иные, что онъ недоступенъ большинству нашихъ писателей, которыхъ этотъ свѣтъ не пускаетъ въ свои гостиныя, а слѣдовательно и не даетъ возможности основательно изу-

чить его? Оттого-ли, какъ увѣряютъ нѣкоторые изъ нашихъ писателей, знающіе этотъ свѣтъ по разсказамъ изъ вторыхъ рукъ, что самъ онъ слишкомъ мелокъ и безличенъ и что въ немъ нѣтъ ни страстей, ни характеровъ, на которыхъ могъ-бы остановиться взглядъ мыслителя? Оттого-ли наконецъ, что по мнѣнію многихъ нашъ большой свѣтъ, служа только лубочной копіей съ европейскаго и особенно французскаго, или лучше сказать, парижскаго beau monde, не представляетъ ничего самостоятельнаго и слѣдовательно не въ состояніи дать ни казвы, ни красокъ для писателя-художника?—Мы въ этомъ сомнѣваемся. Развѣ при нашей общественной разрозненности легче писателю сблизиться съ крестьяниномъ и торговцемъ, чѣмъ съ этимъ моднымъ кругомъ; а между-тѣмъ Писемскій, Григоровичъ и Островскій показали намъ полныя картины низшаго сословія, проникнутыя истиной и жизнью. Мелокъ и безличенъ быть провинціального помѣщичьяго круга, и не смотря на то, Гоголь и Тургеневъ умѣли разглядѣть самыя тонкія волокна этой жизненной типы и мѣткими линиями очертить фізіономіи этихъ лицъ, повидимому такъ нехарактерныхъ и безразличныхъ. Наконецъ, несмотря на гонку нашего свѣтскаго круга за европеизмомъ и полуторавѣковыя усилія его переродиться во французскихъ маркизовъ и виконтесъ,—кто-же при самомъ поверхностномъ взглядѣ, если только захочетъ по совѣту Наполеона поскоблить ногтемъ, gratter un peu этотъ вывезенный изъ за-границы лакъ, кто, говоримъ мы, не найдетъ подъ нимъ совершенно особеннаго характера, своеобразнаго воспитанія и самобытной жизни! Не смотря, повторяемъ мы, на всевозможныя усилія таяться за европейцами, этотъ общественный слой сохранилъ вполнѣ свою особенную фізіономію, и какъ-бы онъ ни прикрывался душистымъ лоскомъ фран-

пузской свѣтскости или англійской фешенебельности, но подобно Петрушкѣ Чичикова, онъ и на Баденскихъ-водахъ, и въ парижскихъ салонахъ Сень-Жерменскаго предмѣстья, и на лондонскомъ альмакѣ носить свой собственный запахъ, котораго ему нельзя заглушить ни утонченной свѣтскостью, ни моднымъ либерализмомъ.

Исторія этого класса общества со временъ Петра Великаго чрезвычайно характеристична. Выйдя изъ кровавой передраги междоусобицы съ воспитаніемъ стараго Домостроя, въ длиннополомъ кафтанѣ и мурмолектѣ, съ пятномъ татарскаго вліянія на жизни и нравахъ, надломленный съ одной стороны мѣстничествомъ, а съ другой поддержанный льготами Годунова, онъ дожилъ до петровской реформы съ темнымъ предчувствіемъ недолговѣчности старыхъ порядковъ и съ открытой враждой къ европейской жизни. Тутъ попалъ онъ въ страшную ломку, какую только представляетъ намъ всемірная исторія. Вегховзвѣтное боярство, обросшее мохомъ за кремлевскими стѣнами, должно было по барабану обрить бороды, облечься во французскіе кафтаны и съ поклономъ принять въ среду свою новыхъ собратьевъ, навербованныхъ изъ солдатъ, пирожниковъ и разныхъ нѣмецкихъ авантюристовъ, искателей фортуны безъ роду и безъ имени. И вотъ люди, которые недавно еще на парадныхъ дворскихъ обѣдахъ опускались энергически подъ столъ, если по ихъ мнѣнію сажали ихъ не по чинамъ и мѣстамъ, теперь должны были смиренно сидѣть за однимъ столомъ съ голландскими шкиперами и нѣмецкими драбантами, насквозь пропитанными табакомъ и шнапсомъ. Дородныя боярыни, толстѣвшія нѣсколько вѣковъ у косящихся оконъ своего терема, подъ тяжелой фатою и слоемъ бѣлилъ и румянъ, потребованы были въ новыхъ французскихъ робронахъ, съ открытой шеей и плечами, на фран-

пузскія асамблеи, и рядомъ съ женами голландскихъ каптеиновъ и веселыми Mädchen изъ Нѣмецкой-Слободы должны были ходить подъ музыку въ менуэтъ и присѣдать и улыбаться незнакомымъ драбантамъ и лейбъ-кампанцамъ. Петербургъ, танцевальныя асамблеи, общество «всепьянѣйшаго братства» Ромодановскихъ, дубинка, князья-папы и князь-игуменья, шкипера и драбанты, — все это цѣликомъ оторвало верхній слой общества и повернуло его затылкомъ къ народной жизни и ко всѣмъ прежнимъ порядкамъ.

Порѣшивъ китамъ-образомъ волей и неволей съ своимъ прежнимъ бытомъ, наше свѣтское общество захотѣло переродиться на манеръ европейскій, — и тутъ началась усиленная гонка за чужими правами и обычаями. Подъ вліяніемъ неутомимой дубинки и новыхъ жизненныхъ приманокъ, мало-по-малу началъ образоваться у насъ новый большой свѣтъ и пустился въ Европу изучать образованный и утонченный міръ французскихъ маркизовъ и шеваляе. Но скоро образоваться не легко, особенно по приказу или назаказъ; гораздо проще перенять свѣтскую внѣшность — костюмъ, языкъ, привычки. И вотъ у насъ воспитался кругъ людей, одѣтыхъ по европейской модѣ, съ французскими пріемами, съ языкомъ версальскаго общества, съ правами временъ регентства и *les petits soupés*, но въ то-же время съ старой самодѣльною подкладкой подъ европейскимъ кафтаномъ, съ татарскими замашками подъ французской утонченностью, съ прежнимъ мѣстничествомъ перевернутымъ наизнанку, съ новымъ презрѣніемъ ко всему русскому и обезьянски-рабскимъ поклоненіемъ чужой внѣшности. Такова была закваска людей такъ-называемаго свѣтскаго круга. И переходя въ продолженіи полутора вѣковъ черезъ нѣмецкое регентство Бирона, французскіе нра-

вы екатерининскаго времени, заглядывая на потсдамскій плацнарадъ Фридриха II и въ фернейскій кабинетъ Вольтера, прикидываясь по модѣ то англоманомъ, то французомъ, то скептикомъ, то патриотомъ, то ханжей — это пестрое, во своеобразное общество дожило до XIX вѣка.

Не любопытно-ли взглянуть послѣ этого, что такое этотъ большой свѣтъ теперь, въ настоящую эпоху, когда русская мысль, понявшая и вредную односторонность старомосковского быта, и гибельную пустоту набожнаго поклоненія западной цивилизаціи, сознательно начала отыскивать свою самобытную дорогу, обращаться къ собственной своей жизни и всматриваться внимательнѣе въ ея рычаги и тормозы. Не поучительно-ли въ то время, когда кисть даровитыхъ художниковъ дала намъ портреты крестьянина, купца, чиновника, помѣщика, показала и остатки старорусской лѣни въ Обломовѣ и проявленія новой дѣятельности и положительности въ Калиновичахъ и Штольцахъ, когда мысль наша стала вдумываться и въ задачи воспитанія, и въ назначеніе женщины, — не поучительно-ли, не любопытно-ли, говоримъ мы, посмотрѣть въ такое время внимательнѣе и на верхнія ступени нашего общества, на картину большого свѣта, и посмотрѣть на нее безъ подготовленной задней мысли и *sine ira*, не сквозь зеленые очки соловубовскихъ героевъ и не въ окно, полузавѣшенное розовой шторой, какъ это водилось до-сихъ-поръ въ нашей литературѣ.

Замѣчательный опытъ такого спокойнаго и внимательнаго взгляда на большой свѣтъ встрѣтили мы въ романѣ В. Крестовскаго: «Въ ожиданіи лучшаго».

Прежде чѣмъ обратимся къ разбору его, замѣтимъ, что самое заглавіе имѣетъ здѣсь большой смыслъ. Одинъ изъ наиболѣе любимыхъ публикою писателей, представляя

въ художественномъ произведеніи, полномъ истины и поэзіи, картину нашей общественной жизни средняго круга, выразилъ не только смысломъ романа и лицами, но и самымъ его названіемъ ту мысль, что это общество живетъ «наканунѣ» новой эпохи, въ которую должны проснуться въ немъ дѣятельныя силы. И въ художественныхъ образахъ и положеніяхъ высказалъ онъ отрадное слово надежды. Романъ В. Крестовскаго, и содержаніемъ своимъ и самымъ названіемъ, представляетъ какъ-бы оборотную сторону той-же медали. Переходя отъ массы всего русскаго общества въ болѣе ограниченный и замкнутый кругъ большаго свѣта, мы видимъ здѣсь, что по мысли автора новаго романа среда эта стоитъ не наканунѣ возрожденія, но пока еще «въ ожиданіи лучшаго».

Романъ В. Крестовскаго представляетъ широкую и довольно полную картину нашего свѣтскаго круга, обставленную цѣлою толпою взятыхъ изъ среды его лицъ, начерченную вѣрной, искусной рукой и написанную свѣжими и яркими красками. Посмотримъ-же, что эта за картина.

Разсказывать содержаніе подобнаго рода сочиненій очень затруднительно, не столько по многосложности интриги или обилію лицъ, сколько по тонкости нитей, изъ которыхъ сплетаются характеры и положенія. А потому, кто не знаетъ этого романа, тѣмъ мы совѣтуемъ прочесть его, и сами станемъ говорить о немъ, какъ о сочиненіи извѣстномъ читателямъ. Романъ этотъ, по нашему крайнему разумѣнію, вводитъ насъ въ міръ мертвыхъ душъ большаго свѣта, полный такой-же пустоты и пошлости, какъ и тотъ міръ, который показалъ намъ Гоголь въ своей поэмѣ, съ тою только разницею, что въ одномъ грязь цѣликомъ мечется въ глаза, ничѣмъ не прикрытая и не замаскированная, а въ другомъ она таится подъ блондами,

бриліантами, изящнымъ французскимъ языкомъ и претензіями на комфортъ и образованность. Но сквозь этотъ блескъ и лакъ, изрѣдка еще настоящій, а болѣе фальшивый, нравственная пустота и испорченность проступаютъ во всемъ своемъ отталкивающемъ безобразіи. Романъ В. Крестовскаго не что иное, какъ мѣткій щелчокъ свѣтскому кругу, но щелчокъ въ то-же время мягкій, данный въ прекрасной перчаткѣ, при очень вѣжливой улыбкѣ: это сатира тонкая, деликатная, безъ видимой жолчи и гнѣва, но тѣмъ не менѣе чрезвычайно ловкая и чувствительная. Обличительный свѣтъ какъ-будто прикрытъ въ ней какимъ-то розовымъ абажуромъ, но именно для того, чтобы подъ нимъ яснѣе и отчетливѣе видны были всѣ темныя пятна и самая легкая плѣсень этого мишурнаго быта. Съ перваго взгляда здѣсь на всемъ лежитъ какая-то мягкость, но при всемъ-томъ вамъ становится душно въ этой великосвѣтской атмосферѣ, такъ-же душно, какъ и въ обществѣ грязныхъ лицъ Гоголя. Тутъ не обманываютъ начальство и не обираютъ купцовъ, какъ Сквозниѣ-Дмухановскій, не воруютъ казеннаго достоянія покупкой вымершихъ душъ, какъ Чичиковъ, но тутъ крадутъ у общества его свѣжія силы и живыя души; тутъ нѣтъ ни крупныхъ злодѣйствъ, ни поголовнаго взяточничества, ни голой грязи, а между-тѣмъ вы томитесь и задыхаетесь не отъ испорченности воздуха, а оттого что тутъ совсѣмъ его нѣтъ, что подъ этимъ безвоздушнымъ волоколомъ невозможно дышать чело-вѣку свѣжему и здоровому.

Не напрасно въ «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя преобладаютъ мужскія лица, и только эпизодически, въ легкихъ эскизахъ являются почти безъимянныя дамы «просто пріятныя и пріятныя во всѣхъ отношеніяхъ»: въ томъ темномъ провинціальномъ мірѣ женщина такъ еще безлична

и безправна, что теряется безъ образа и голоса въ массѣ своихъ темныхъ родителей и супруговъ, обнаруживая признаки жизни только тамъ, гдѣ является балъ или сплетни. Не случайно и въ романѣ В. Крестовскаго видимъ мы преобладаніе женскихъ лицъ въ этомъ мірѣ, гдѣ все совершается черезъ женщинъ, не потому чтобы въ нихъ было больше развитія и силы, а оттого напротивъ, что въ женской массѣ этихъ мертвыхъ душъ подобная дѣятельность поглощаетъ всю жизнь. Великосвѣтскія дамы—полныя представительницы этого круга, съ его пустотою, нескончаемой нитью интригъ, спѣсью и жеманствомъ, мелочной щепетильностью, презрѣніемъ ко всему не блестящему мишурою и незнаніемъ вопросовъ общественныхъ и гражданскихъ. Понятно такимъ-образомъ, почему авторъ ввелъ въ романъ свой преимущественно дамъ.

Въ толпѣ этихъ мертвыхъ душъ свѣтскаго круга являются своего рода Плюшкины, Сквозники-Дмухановскіе, Хлестаковы, Коробочки, Держиморды—въ блондовыхъ платьяхъ и бриліантахъ, но съ тѣми-же татарскими приемами, съ тѣми-же общимъ впечатлѣніемъ пошлости. Одно изъ лицъ романа, играющее въ немъ роль Чацкаго, характеризуетъ большой свѣтъ, опредѣляетъ его такъ: «Общество это до конца прогнило, а все еще на себя радуется! Education, какъ же! французско-замоскворѣцкое нарѣчіе! Женщины... Которая и поумнѣе, та боится думать, насильно себя одуряетъ изъ приличія: *думать неприлично*. Да никто ничего и не думаетъ... Что тутъ думать? закрыть глаза, да доживать какъ-нибудь... Эти барыни привередницы, эта молодежь недоучка носъ поднимаетъ, по уши въ долгахъ, за плечами скверныя исторіи. Ни въ комъ правды, ни въ комъ достоинства; другъ передъ другомъ до конца унизились, пенавидятъ другъ друга. И вѣдь какъ глупы!

Сжадится кто-нибудь надъ ихъ дурью, станетъ имъ говорить: «опомнитесь», куда! прогнѣваются: «ажитаторъ, опасный человѣкъ...» Вотъ канва, по которой вышита вся картина романа. И рисуя мастерски это общество, авторъ съ особеннымъ вниманіемъ отдѣливаетъ его женскіе типы. Передъ вами проходитъ цѣлый рядъ свѣтскихъ барынь, цѣлая колекція женскихъ портретовъ этихъ мертвыхъ душъ своего круга.

Лучшій и болѣе выдержанный типъ въ этой богатой галереѣ—княгиня Десятова, представительница своего кружка, центральный мыльный пузырь, около котораго вращаются всѣ другіе. Всѣ черты этого лица подмѣчены и выражены такъ искусно, что передъ вами является полный, законченный портретъ. Съ значительнымъ, но безпорядочнымъ состояніемъ, надменная своимъ родомъ, невозмутимо-холодная при всѣхъ обстоятельствахъ жизни, съ характеромъ стойкимъ, но насквозь пропитаннымъ свѣтской пустотою, окруженная жадными наслѣдниками, съ нетерпѣніемъ ожидающими ея смерти, и приживалками, выпрашивающими подачекъ—она всю жизнь посвятила только поддержанію своего достоинства, нисколько не подозревая, что эта-то самая жизнь больше всего и служитъ къ его униженію. Характеръ ея довольно мѣтко опредѣляетъ то-же дѣйствующее лицо повѣсти, о которомъ мы говорили: «Она не человѣкъ, она нѣчто безплотное, а если уступаетъ и соглашается, что и она сотворена изъ костей и тѣла, то это, по ея понятіямъ, нѣчто иное чѣмъ у другихъ, нѣчто, если еще несовсѣмъ безсмертное, то просвѣтленное».

Подлѣ этой москворѣцкой Ревамы является молодая, прелестная Катерина Александровна Алексинская, жена честнаго и образованнаго человѣка, который вошелъ въ

большой свѣтъ только потому, что женился на этой женщинѣ, и на котораго этотъ свѣтъ смотритъ какъ на ничтожнаго и негоднаго рагчену. Онъ любитъ жену со всѣмъ увлеченіемъ страсти. Но эта «лучшая изъ своего круга» женщина, какъ говоритъ авторъ, — отдается молодому гусару, князю Ивану Десятову, пошлому фату, который живетъ долгами въ надеждѣ на вожделенную кончину бабушки. Этотъ негодяй отличается той свѣтско-цинической наглостью, которая дается только низостью испорченной души, отсутствіемъ воспитанія и врожденной увѣренностью въ превосходствѣ крови, въ безнаказанности распутства, огражденной громкимъ именемъ и выгоднымъ положеніемъ въ свѣтѣ. Съ открытымъ безстыдствомъ отталкиваетъ онъ свою любовницу, нисколько не скрывая, что она ему надоѣла; а эта блестящая, гордая великосвѣтская дама вѣшаетъ ему на шею, недумая нетолько о мужѣ или о чести, но даже о соблюденіи приличій, что считается у подобныхъ барынь единственнымъ кодексомъ нравственности, единственной уздой всѣхъ дѣйствій и поступковъ. И пусть-бы это искупалось еще истинной страстью любящей души: мы не бросили-бы камня и въ преступную женщину, если-бы она дѣйствительно и искренно любила. Вспомните романъ Жоржъ-Заңда Leone Leoni. Вы помните эту Жюльету, которая до безумія любитъ вѣтренаго, распутнаго игрока и не можетъ бросить его, не смотря на всѣ оскорбленія и безпрестанныя измѣны и обманы. Но кто рѣшится осудить эту женщину и бросить въ нее камень, когда она такъ много и такъ безкорыстно любила! Не такова эта Алексинская. Въ Жюльетѣ поэтъ написалъ намъ высокій гимнъ женскому сердцу, въ Катеринѣ Александровнѣ мы видимъ одно только распутство, полузамаскированную свѣтскими приличіями чувственность и хроническую испорченность. Эта женщина служитъ живымъ комментариемъ свѣтскаго

воспитанія съ его пошлостью и пустотою. Авторъ съ большимъ искусствомъ очертилъ эту личность и раскрылъ всѣ тонкія пружины, управляющія этимъ «маленькимъ сердцемъ». Впрочемъ мы не видимъ въ этой барынѣ никакого сердца. Вотъ, напримѣръ, какъ она проводитъ время, собираясь въ княгинѣ, на свиданіе съ любовникомъ, который давно уже пріѣхалъ, но не думаетъ навѣстить ее.

«Она дала себѣ заснуть, замаявъ свое чувство, и опять замаяла свою мучительную мысль, подумавъ по-французски *que c'est une fatalité*, молилась, не давая себѣ плакать, чтобы не быть неприлично разстроенною въ теченіи дня, соображая, хотя благочестиво и отклоняла это соображеніе, что ея вышитое платье недовольно свѣжо, потому-что уже одинъ разъ было надѣто, и вслѣдъ затѣмъ занялась съ Настей этимъ платьемъ. Потомъ успокоясь, что платье восхитительно, и даже улыбнувшись ему, она выпила немного молока и пошла гулять. Природа наводитъ на размышленія, но раздуматься не даетъ, тѣмъ менѣе тому, кто не привыкъ раздумываться: сладкая мысль *que Dieu est bon!* смѣшалась какъ-то съ запахомъ цвѣтовъ»...

А вотъ въ какомъ положеніи эта женщина, когда несчастный мужъ узнаетъ о ея связи съ княземъ Десятымъ и въ отчаяніи рѣшается на самоубійство. Она сперва хочетъ уѣхать, а когда это не удастся, плачетъ — что о ней дурно заговорятъ въ обществѣ.

«Въ домѣ все затихло. Катерина Александровна еще оставалась въ своей гостиной, въ отупленіи, въ полудремотѣ, потому-что не хотѣлось подняться съ мѣста. Тишина успокоила ея нервы; спокойствіе было пріятно, и потому Катерина Александровна поспѣшила вспомнить неопровержимую истину, что все на свѣтѣ проходитъ. Потомъ, *pour donner un autre cours aux idées*, она взяла книгу, говоря

себѣ, какъ-будто въ успокоеніе какого-то далекаго упрека совѣсти, что такъ она проведетъ ночь, que sera une veillée. Книга была романъ Феваля и вскорѣ заинтересовала ее».

Вокругъ этихъ двухъ лицъ, княгини Десятовой и madame Alexunsky, группируются другія мертвыя души большаго свѣта — Мороновы, Гусицкія, четырнадцатилѣтній графъ Вася, любимецъ бабушки, и наконецъ штатныя и сверхъ-штатныя приживалки этого маленькаго дворика. Здѣсь выступаютъ на первый планъ два лица, двѣ презрительно-покровительствуемыя паріи: это кочующія приживалки, Анна Федоровна Абарова и дочка ея Полина. Въ этихъ лицахъ авторъ рѣшаетъ любопытную задачу. Трудно представить что-нибудь непріятнѣе этихъ двухъ существъ, втирающихся почти насильно туда, гдѣ на всякомъ шагѣ имъ дадутъ чувствовать оскорбительное презрѣніе. Абарова-мать—настоящій лакей большаго свѣта, низкій и наглый. Полина, умная и энергичная дѣвушка, понимаетъ всю тягость своего положенія и между-тѣмъ ни за-что не хочетъ выйти изъ него трудомъ. Она презираетъ кругъ, въ которомъ родилась, ненавидитъ большій свѣтъ, понимаетъ его мелочность и пошлость, и въ то-же время пресмыкается въ качествѣ приживалки и безъ страсти дается въ обманъ одному изъ его представителей—тому-же Десятову. Это воплощенное отвращеніе къ честному труду и зависть къ аристократіи и богатству. И эта-то жалкая дѣвушка не только выдается свѣтлѣе предъ другими великосвѣтскими лицами романа, но гораздо больше Алексинской привлекаетъ участіе, интересуется своей судьбою, даже возбуждаетъ нѣкоторое сожалѣніе, когда, обольщенная княземъ, она принуждена выйти замужъ за безсловеснаго, но грязнаго человѣка, ея будущаго тирана. Не оттого-ли это, что при всей испор-

ченности, въ натурѣ этой остались еще кое-какія жизненные черты, не затертыя свѣтской пошлостью? Или наконецъ оттого, что въ ней видна жертва того-же самого свѣта!

Такимъ-образомъ ясно, что цѣлью автора было показать въ этомъ романѣ сатирическую картину свѣтскаго общества и въ особенности его дамскаго круга. Вся пустота этого общества, умѣвшаго сочетать, по выраженію поэта, «Европы доскъ и варварство татарства», представлена съ знаніемъ этого быта и тонкимъ его анализомъ. Еще болѣе достоинства придаетъ этой картинѣ то, что авторъ умѣлъ освѣтить ее какимъ-то особенно мягкимъ сатирическимъ свѣтомъ; это не безпощадный смѣхъ Гоголя, а тонкая полузатаенная иронія, не столько высказываемая словомъ, сколько лицами и ихъ положеніями. Здѣсь слезы видны не сквозь смѣхъ, а подъ иронической улыбкой презрѣнія.

Но можетъ-быть спросить: нѣтъ-ли подъ темными красками этой картины какого-нибудь свѣтлаго проблеска, нѣтъ-ли въ этой средѣ сѣмянъ будущаго перерожденія? не стоитъ-ли она можетъ быть «наканунѣ» перехода къ новой жизни, къ иному болѣе чистому существованію? Въ романѣ мы видимъ только, что этотъ свѣтскій кругъ живетъ пока «въ ожиданіи лучшаго». А на вопросъ: возможно-ли ждать теперь этого лучшаго, авторъ отвѣчаетъ превосходно поставленнымъ лицомъ младшаго внука княгини Десятовой, Васи, представителя подрастающаго поколѣнія этого круга. Что-же это такое? Если изъ всѣхъ отталкивающихъ лицъ романа нужно кому-нибудь отдать первенство, то конечно его долженъ получить этотъ мальчикъ, умѣющій въ четырнадцать лѣтъ ухаживать за бабушкой въ надеждѣ сдѣлаться ея наслѣдникомъ, который топчетъ ногами ея загнанныхъ

приживалокъ, подсматриваетъ и подслушиваетъ любовныя сцены, лстить и переносить сплетни, однимъ словомъ — представляетъ уже не тощій плодъ, а самый ростокъ едва распутившійся и пораженный уже порчею.

Въ дополненіе характеристики этого міра мертвыхъ душъ, мы приведемъ одну небольшую сцену изъ романа, въ которой онъ отразился со всей полнотою. Когда Нерацкій, управляющій Алексинскихъ, отказался заниматься дѣлами княгини Десятовой и смѣло высказалъ это, весь этотъ кружокъ забилъ тревогу.

«— Catherine, произнесла княгиня: напиши своему мужу, моя милая... Или, я полагаю, ты можешь это сдѣлать сама, ты госпожа въ своемъ имѣніи: прогони своего управляющаго. C'est un rustaud, un animal comme il n'y en a pas, un chien hargneux!...

— Это точно опасный человѣкъ, сказалъ Пехлецовъ.

— Да, опасный! повторила настоятельно княгиня: — ты слышала-ли, какъ онъ разсуждаетъ? Онъ сейчасъ разсуждалъ здѣсь; слышала?

— Un Marat... прошепталъ Пехлецовъ, оглянувшись.

— Ныпче всѣ такъ, вся мелочь, замѣтилъ князь прерзительно, — получили привилегію безнаказанно ругаться.

— Надѣюсь, ты его прогонишь? сказала княгиня Катеринѣ Александровнѣ.

— Oui, maman, отвѣчала она тихо.

— Замѣнить его очень легко, продолжала княгиня: — двадцать человѣкъ найдутся. Ты сама увидишь пользу отъ этого. Нельзя поручиться, чтобъ онъ не успѣлъ ужъ многое натолковать *твоимъ* такое... однимъ словомъ все, что онъ имѣетъ дерзость говорить.

— Правда, что онъ человѣкъ ужасный, замѣтила съ

тревогой Катерина Александровна; — но, однако... Это очень-странно, его всѣ любятъ.

— Такихъ людей всегда любятъ, произнесла княгиня:— эти люди умѣютъ къ себѣ привязывать, въ томъ ихъ выгода. Это, моя милая, все равно, что укротители звѣрей...

— Je ne m'en moque pas mal, шепнулъ князь Полинѣ.

— Мы - то не должны дѣлать глупости, продолжала княгиня: — не надо давать воли мелочи этой. Пусть себѣ кричатъ, крикомъ они ничего не сдѣлаютъ, а когда увидятъ, что за свой крикъ сами останутся безъ хлѣба, то и замолчатъ. Они, пожалуй, и кричатъ, но не страшны; позволить имъ писать ихъ вѣдоръ, позволить имъ взятъ брать, наживаться понемногу — и притихнуть.

— Cela reviendra nous baiser les pieds, сказалъ Вася...»

Изъ одной этой сцены читатели видятъ, что это за мѣръ, и какъ мастерски умѣетъ авторъ обрисовывать эти великосвѣтскія мертвыя души. Обратимся теперь къ душѣ, по взгляду автора живой, къ управляющему Неряцкому, который былъ причиною приведенной нами поучительной бесѣды.

Давно замѣчено, что положительный типъ не удается въ нашей литературѣ у писателей самыхъ талантливыхъ. Вспомните важнѣйшія лица этого рода, начиная съ Чацкого и до Инсарова. Чего не придумывали наши романисты, чтобы показать намъ идеальную личность современнаго человѣка въ нашемъ обществѣ. Они надѣляли его остроуміемъ, желчью и либерализмомъ, какъ Чацкого, давали ему практическій умъ и положительное знаніе жизни, какъ Петру Ивановичу Адуеву, награждали его современной ловкостью и дѣятельностью, какъ Калиновича, или силою страсти и кипучей потребностью жизни, какъ Бельтова, или любовью къ обществу и желаніемъ служить его

развитію и прогресу, какъ Рудина. И не смотря на всѣ эти талантливые опыты, оказалось, что положительный типъ не удастся намъ, что въ немъ не видать живаго человѣка, не чувствуется плоти и костей нашихъ, что при всѣхъ усиленіяхъ таланта изъ него выходитъ образъ безъ лица, фигура безъ характера, рефлексія безъ мысли. Потерявъ надежду найти положительный идеалъ въ нашемъ обществѣ, писатели наши обратились къ иноземнымъ элементамъ, съ какой-нибудь стороны привоснованнымъ въ русской почвѣ и связаннымъ какой-нибудь нитью съ нашимъ обществомъ. Придумали показывать намъ отличнаго помѣщика и распорядительнаго хозяина въ лицѣ грека Костанжогло, или практическаго современнаго человѣка и умнаго дѣльца въ образѣ вѣмца Штольца, или наконецъ гражданина и патриота подъ именемъ болгара Инсарова. Недостаетъ только, чтобъ положительный *jeune premier* въ нашемъ романѣ явился наконецъ въ лицѣ какого-нибудь француза-комми изъ перчаточнаго магазина на Невскомъ-проспектѣ, или въ вожѣ заѣзжаго машиниста англичанина съ какой-нибудь бумагопрядильни. И что-же?—Нашествіе этихъ двадцати языкъ на нашу изящную литературу не принесло однако-же намъ ни одного положительно живаго человѣка. Всѣ эти практики и дѣльцы, переселяясь на русскую почву, изъ дѣятелей превращались въ говорителей, да еще на языкѣ непонятномъ русскому уму и чувству. Говорятъ, кто поживетъ въ Китаѣ, тотъ не только потеряетъ въ немъ свою личную физіономію, но и самъ приметъ отпечатокъ китайской расы. Тоже случилось и здѣсь. Самобытная почва русской литературы не поддавалась пришельцамъ, а напротивъ сама подчинила ихъ себѣ, или переворачивая ихъ положительную сторону на отрицательную, или стирая съ нихъ всѣ характерныя черты ихъ физіономіи.

В. Крестовскій такъ-же не совладаль съ своимъ положительнымъ типомъ. Его Неряцкій вышелъ не что иное, какъ мозаическая фигура, составленная изъ образовъ, давно уже намъ знакомыхъ по другимъ нашимъ писателямъ.

Въ немъ проглядываетъ то злой обличитель общества Чацкій, то чопорный хозяинъ помѣщикъ Костанжогло, то наконецъ обращенный на русскій ладъ Иисаровъ. Положимъ, что изъ этихъ особенностей вышло кое-что своеобразное, но все-таки не вышло живаго, цѣльнаго лица, каковы старуха-княгиня, князь Иванъ Десятовъ или даже слегка очерченный Пехлецовъ. Здѣсь мы видимъ живыя, знакомыя лица, а тамъ китайскую тѣнь, воплощенную сентенцію и мораль, выведенную только для того, чтобы прочитать приговоръ надъ пошлымъ обществомъ свѣтскаго круга, какъ-будто оно самими дѣйствіями своими не проноситъ себѣ окончательнаго приговора.

Всматриваясь пристально въ Неряцкаго, тотчасъ-же находишь въ немъ знакомыя черты. Педантъ въ хозяйствѣ, подобно смѣшному Костанжогло, акуратный до мелочности, какъ Штольцъ, онъ замѣтно драпируется въ честность и суровую прямоту какого-то римскаго трибуна. Взгляните, напримѣръ, какъ онъ ведетъ себя въ домѣ княгини, куда его позвали по дѣламъ и гдѣ онъ ораторствуетъ передъ людьми, которыхъ презираетъ, зная что у него нѣтъ съ ними ниодной общей черты, что имъ никогда не спѣется съ нимъ ни въ одной нотѣ. Вотъ какъ проповѣдуетъ онъ передъ гг. Десятовыми и Пехлецовыми:

« — Fermez cette porte, обратилась княгиня къ Полинѣ, указывая на балконъ, и продолжала, не глядя на Неряцкаго: — нынче ужъ и мужчины что-то очень берутъ въ сердце разныя страданія.

— Поневоля, возразилъ Неряцкій: — изъ терпѣнія вышли.

— За что-же это изъ терпѣнія вышли? спросила величественно княгиня: — я не вижу, чтобы кто-нибудь по дѣламъ изъ терпѣнія вышелъ. Крикуновъ много, а этимъ крикунамъ право гораздо лучше и покойнѣе, нежели тѣмъ, противъ кого они кричатъ... А за кого они кричатъ, — этого, кажется, и Богъ не знаетъ! заключила она, удостоивъ улыбнуться.

— Ваше сіятельство ошибаетесь, отвѣчалъ спокойно Неряцкій: — Богъ ихъ знаетъ. Если вашему сіятельству безпокойно отъ крика, то вѣдь вкусы разные: есть люди, которыхъ безпокоитъ гробовое молчаніе, особенно если въ гробахъ лежатъ не мертвые, а живые...

Пехлецовъ повернулся на мѣстѣ; княгиня засмѣялась.

— Какіе великіе люди! сказала она, приподнявъ губы къ носу еще выше и презрительнѣе, нежели обыкновенно это дѣлала: — но вѣдь это не новость, то, что вы говорите, monsieur... monsieur Неряцкій; мы это слышали.

— Oui!... il n'y a pas cent ans, проговорилъ Пехлецовъ.

— Нѣтъ-съ, около двухъ тысячъ лѣтъ, возразилъ еще спокойно Неряцкій.

— Двѣ тысячи лѣтъ?... сказала вопросительно княгиня: — когда-же?

Неряцкій засмѣялся.

— Я пригласила васъ, monsieur Неряцкій, чтобы поговорить о дѣлѣ, прервала княгиня, полная оскорбленнаго достоинства, — и только потому удерживала такъ долго. Пожалуйста...

— Извините, прервалъ ее вдругъ Неряцкій... Заниматься вашими дѣлами я не имѣю ни времени, ни охоты. Будьте здоровы.

И не дожидаясь ея отвѣта, онъ вышелъ.»

Ну, не Чацкій-ли это, проповѣдающій передъ Тугоуховскими, Загорѣцкими и Хлестовыми? И развѣ Пехлецовъ не имѣлъ послѣ этого права назвать его Маратомъ, какъ Фамусовъ называетъ Чацкаго сумасшедшимъ! Тутъ не только не видать серьезно-положительнаго типа нашего общества, а напротивъ видѣнъ рыцарь печальнаго образа, въ мамбриновомъ шлемѣ, сражающійся со стадомъ барановъ.

Не менѣе дикимъ образомъ ведетъ себя этотъ герой съ мадамъ Алексинской. Убѣдясь въ связи ея съ Жаномъ Десятовымъ, онъ письмомъ вызываетъ ея мужа въ деревню. Потомъ, когда Алексинскій узнаетъ невѣрность жены и ударъ этотъ повергаетъ его въ горячку, Неряцкій ночью съ балкона врывается въ комнату Катерины Александровны и разражается самыми грубыми выходками. Человѣкъ этотъ, презирающій свѣтъ и его блистательно-мелочныхъ барынь и понимающій вполне не только пошлость Десятовыхъ, но пустоту и низость самой Алексинской, читаетъ ей рѣчь, въ которой такъ и видишь Донъ-Кихота. Мы выпишемъ часть этой любопытной сцены.

«Неряцкій вошелъ въ комнату съ балкона. Катерина Александровна вскочила въ испугъ.

— De quel droit, monsieur... начала она, теряясь, гнѣваясь, испугавшись.

— Я видѣлъ, что вы еще не ложились, отвѣчалъ онъ, запирая дверь спальни: — а «de quel droit», это ужъ я знаю. Вы знаете, что вашъ мужъ болѣнъ? Я присылалъ вамъ сказать, — сказали вамъ? Почему вы не пришли къ нему въ ту-же минуту?...

— По какому праву вы меня допрашиваете? возразила Катерина Александровна:—вы забываетесь! c'est une insolence, ça n'a pas de nom...

— А то, что вы сдѣлали, — какъ назвать? прервалъ онъ тихо. То, что вы сдѣлали, Катерина Александровна, избавляетъ отъ учтивости съ вами. Понимаете вы это? Извольте сказать мнѣ, что вы, — а потомъ кричите, что я забываюсь».

Далѣе выходки Нерацкаго обращаются въ грубую брань.

«— Я-бы убилъ васъ, продолжаетъ онъ:— безъ малѣйшаго права я-бы убилъ васъ! Я-бы не сталъ, какъ этотъ несчастный, совать себѣ пистолетъ въ ротъ—какъ еще удалось его выхватить!... Не надо васъ на свѣтѣ,—не потому что вы невѣрная жена, не потому что вы *одною* оскорбили,—а потому что вы отвратительное порожденіе отвратительнаго общества, потому что вы мелки, развращены, потому что, погубивъ человѣка, вы пицете о томъ, что будетъ съ вами и какъ на васъ поглядятъ тамъ, въ свѣтѣ нашемъ... будь онъ проклятъ!... Слушайте, что я говорю: вамъ этого не говорили и никто не скажетъ! Вотъ — вы всѣ тутъ: онъ умираетъ, вы романы читаете!»

Въ довершеніе своей брани, Нерацкій командуетъ еще Алексинской такимъ образомъ:

— Чтобы завтра на зарѣ вы были подлѣ мужа,—слышите ли. Не смѣйте ему плакаться надъ собою, не смѣйте его огорчать!»

Мы понимаемъ неумѣстное, но простодушно гуманное обращеніе купца Муразова къ Чичикову въ острогѣ. «Ахъ, Павелъ Ивановичъ, что вы сдѣлали? Какъ-же можно было такъ поступать дворянину? Ахъ, Павелъ Ивановичъ, какъ васъ ослѣпило это имущество! Изъ-за него вы не видали страшнаго своего положенія... Павелъ Ивановичъ, успокойтесь, подумайте, какъ-бы примириться съ Богомъ, а не съ людьми; о бѣдной душѣ своей помыслите.» Это такой-же гласъ вопіющаго въ

пустынѣ, но онъ по крайней мѣрѣ вызванъ гуманнымъ чувствомъ любви. Мы нѣсколько понимаемъ даже и готовы извинить Чацкому совершенно ненужное воззваніе его къ Софѣѣ, послѣ того какъ онъ узналъ ея отношенія къ Молчалину:

О Боже мой, кого себѣ избрали?
Когда подумаю: кого вы предпочли?

Но признаемся, мы рѣшительно не понимаемъ въ разумномъ человѣкѣ выходовъ, подобныхъ послѣднимъ рѣчамъ Неряцкаго. При всей привязанности къ Алексинскому, только одинъ Донъ-Кихоть обличительной школы могъ такъ вести себя и ораторствовать передъ испорченной и нераскаянной женщиной. Это уже не пуританскій проповѣдникъ морали и не человѣкъ, которому въ тяжелую минуту есть потребность сорвать, какъ говорится, наболѣвшее сердце: это какой-то романическій дикарь французской школы тридцатыхъ годовъ, это бальзаковскій Ронкероль изъ нелѣпой сказки *Histoire des Treize*.

Вообще, когда въ романѣ В. Крестовскаго дѣйствіе идетъ въ большомъ свѣтѣ, въ феодально-подмосковномъ салонѣ княгини Десятовой, все полно въ немъ жизни и истины; но какъ скоро на сцену выступаетъ Неряцкій или другой положительный собратъ его, Алексинскій—дѣйствіе становится придуманнымъ и даже принимаетъ иногда неестественный характеръ. Особенно это замѣтно въ концѣ романа. Мы говорили уже объ эксцентричности и ненатуральности характера Неряцкаго и объ его странныхъ выходахъ передъ княгиней и Алексинской. Въ другихъ сценахъ и положеніяхъ встрѣчаются такія-же несообразности. Признаніе Катерины Александровны мужу, можетъ-быть и возможное, кажется совершенно неестественнымъ въ томъ видѣ, какъ оно поставлено и развито въ романѣ. Нако-

нецъ самоубійство Алексинскаго * совершенно портить конецъ романа. Невольно подумаешь, что наши писатели, выводя положительное лицо, подъ конецъ и сами не знаютъ, что съ нимъ дѣлать, особенно когда ему приходится отъ разглагольствій перейти къ дѣятельности. Положительному герою становится при развязкѣ очень плохо: писатели пожираютъ его, какъ Сатурнъ дѣтей своихъ. У однихъ авторовъ онъ спивается съ кругу, у другихъ пропадаетъ безъ вѣсти, а иные спѣшаютъ даже уходить его насильственной и нечаянной смертью. Тургеневъ уморилъ своего Инсарова въ Венеціи, наканунѣ того времени, какъ бѣдному болгару надобно было дѣйствовать, и мы уже подозрѣвали, не виноваты-ли въ этомъ австрійскіе агенты. В. Крестовскій сразилъ Алексинскаго пистолетнымъ выстрѣломъ, какъ только этому герою приходилось показать, что онъ не весь поглощенъ любовью къ недостойной женщинѣ. И замѣтите, что онъ застрѣлился въ то время, когда по собственнымъ словамъ его убѣдился, что «эта милая, игривая, очаровательная женщина — сама пустота, существо безъ сознанія, безъ совѣсти, даже безъ простой понятливости и состраданія». Конечно, онъ любилъ ее, но такихъ господъ, которые стрѣляются отъ любви, мы прогнали съ нашей литературной сцены еще во времена блаженной памяти романтизма.

Обращаемся къ художественной сторонѣ романа В. Крестовскаго.

Мы не разъ упоминали въ нашей статьѣ о «Мертвыхъ Душахъ», потому что чтеніе романа г. Крестовскаго не разъ напоминало намъ поэму Гоголя. Да не подумаютъ читатели, что мы хотѣли этимъ поставить оба сочиненія на одинъ планъ въ художественномъ отношеніи. Насъ поразило умѣнье автора изображать интриги и мелочи большого свѣта, его искусство рисовать лица изъ этого кружка въ чертахъ

живыхъ и мѣткихъ, въ образахъ иногда почти типическихъ, каковы напримѣръ княгиня Десятова или графъ Вася. Но лица эти являются въ романѣ далеко не въ такихъ поражающихъ и выпуклыхъ чертахъ, какъ у Гоголя: въ нихъ поэтическая живопись переходитъ иногда въ копировку, а мѣстами даже въ дагеротипную мелочность. Вообще художественная сторона романа В. Крестовскаго не только уступаетъ Гоголю, а даже Гончарову и Тургеневу. Но не смотря на это — новостъ среды, взятой авторомъ и такъ мало еще тронутой въ нашей литературѣ, и тонкое иронически-спокойное обращеніе его къ своему сюжету—даютъ роману Крестовскаго несравненно больше значенія, чѣмъ «Обломову» или «Наканунѣ». Мы и прежде не сомнѣвались въ талантѣ В. Крестовскаго, но въ этомъ новомъ сочиненіи онъ далеко ушелъ впередъ и обнаружилъ новыя стороны дарованія, отъ котораго можно ожидать много хорошаго въ будущемъ. Въ этомъ романѣ его мы видимъ уже не альбомный рисунокъ большаго свѣта, не эскизъ, наброшенный по слухамъ или бѣглому взгляду съ паркета бальной залы, а полную картину быта, написанную тонкой кистью опытнаго художника, вполне знакомаго съ нимъ, и освѣщенную тѣмъ колоритомъ, при которомъ всѣ эти мертвыя души высокаго полета являются въ настоящемъ свѣтѣ. Однимъ словомъ, въ ожиданіи лучшаго произведенія въ этомъ родѣ, романъ «Въ ожиданіи лучшаго» представляетъ замѣчательную картину нашего домо-рощеннаго beau monde, лучшую галерею портретовъ свѣтскаго круга, въ его современномъ состояніи и съ намекомъ на его будущность.

ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕКЦІИ

ПРИ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Итого ради Императоръ, имперіи своей славы, народу-же явственныя ища пользы, преблаго быти разсудилъ, аще соіізетъ знаменитыхъ ученіемъ людей собрать, которые, какъ науки, во оныхъ упражняяся, совершали бы и умножали, такъ и юношество учаще, оныя расплодили бы и оной соіізетъ титуломъ Академіи Наукъ установленію сему зѣло приличнымъ украситъ.

Проектъ Указа 1725 года. Ученныя Зап. т. II.

Въ полемикѣ, возникшей у насъ по случаю вопроса о преобразованіи университетовъ, высказалось въ сущности два противоположныя мнѣнія. Одни изъ нашихъ ученыхъ полагали, что эти заведенія назначаются преимущественно для высшаго образованія юношества, хотя въ то-же время могутъ быть открыты и для постороннихъ слушателей; другіе мечтали о преобразованіи университетовъ въ заведенія доступныя для всѣхъ приходящихъ, безъ всякихъ правъ на поступленіе, безъ всякой студентской корпораціи, съ уничтоженіемъ самаго званія студента, въ видѣ простыхъ пу-

бличныхъ лекцій, только расположенныхъ въ факультетской связи. Последнее мнѣніе, само по себѣ крайне несостоятельное, наводитъ однакожь на вопросъ: не пуждается-ли теперь русское общество въ учрежденіи въ столицѣ публичныхъ лекцій, не случайно задуманныхъ, не читаемыхъ отрывочно и безсистемно, какъ это дѣлается отъ лица нѣкоторыхъ ученыхъ обществъ или по желанію частныхъ лицъ, но постоянныхъ, систематически обнимающихъ какія-нибудь отрасли наукъ и расположенныхъ въ стройной связи и взаимной солидарности? Намъ кажется, что на этотъ вопросъ слѣдуетъ отвѣчать утвердительно. Самый поверхностный взглядъ показываетъ, что въ нашемъ обществѣ чувствуется потребность въ публичныхъ лекціяхъ. Всѣ ученыя чтенія, какія только у насъ устраивались въ послѣдніе годы, не смотря на свою отрывочность, не всегда строгую систематичность и часто довольно-высокую плату, привлекали значительное число слушателей. Многочисленность такихъ чтеній, кажется, доказываетъ, что это не мода, не мимолетное увлеченіе, не жажда одной новости. По нашему мнѣнію, въ этомъ видна серьезная потребность нашей публики въ научныхъ знаніяхъ, а вмѣстѣ-съ-тѣмъ это само-собою указываетъ на необходимость публичныхъ лекцій, правильно-организованныхъ, съ свободнымъ доступомъ для всѣхъ желающихъ слушать ихъ.

Если университетъ, по назначенію своему, долженъ оставаться высшимъ образовательнымъ заведеніемъ для учащейся молодежи и никакія публичныя чтенія не въ состояніи замѣнить въ немъ характера и духа, какой возникаетъ только въ средѣ студентской корпораціи, — то съ другой стороны заведеніе въ родѣ парижской Collège de France, съ публичными лекціями, для всѣхъ доступными и болѣе или менѣе популяризированными, будетъ учрежденіемъ чрезвычай-

ной важности, которое принесетъ большую пользу въ дѣлѣ нашего образованія. Подобныя чтенія едва-ли гдѣ-нибудь такъ необходимы, какъ въ нашей столицѣ, и особенно въ настоящее время, когда въ публикѣ чувствуется потребность въ основательномъ и свѣжемъ взглядѣ на разныя отрасли научныхъ знаній. У насъ, при множествѣ спеціальныхъ заведеній, военныхъ и статскихъ, юридическихъ и техническихъ, свѣтскихъ и духовныхъ, цѣлыя тысячи людей чувствуютъ настоятельную потребность въ томъ освѣщающемъ взглядѣ, который осмысливаетъ усвоенныя отъ жизни и науки факты, даетъ настоящее воззрѣніе на минувшее и будущее, оживляетъ и направляетъ самыя наши знанія. Что наше общественное и частное образованіе мало-по-малу подвигается впередъ, — это не подлежитъ сомнѣнію; но оно такъ еще разнообразно, такъ неравномѣрно, исполнено такихъ контрастовъ и противорѣчій, что необходимо нуждается въ общемъ освѣщающемъ взглядѣ. Поговорите съ человѣкомъ, вышедшимъ изъ семинаріи, съ офицеромъ выпущеннымъ изъ корпуса, съ молодымъ купцомъ окончившимъ курсъ въ коммерческомъ училищѣ, съ дамою воспитанной въ институтѣ или дѣвицей приготовленной дома, на урокахъ приходящихъ учителей — при болѣе или менѣе значительномъ запасѣ свѣденій, какое разнообразіе въ ихъ пониманіи и какое разнорѣчіе во взглядѣ! Между-тѣмъ вся эта среда приготовлена къ публичнымъ лекціямъ и чувствуетъ потребность въ нихъ, а потому мы полагаемъ, что учрежденіе постоянныхъ чтеній въ столицѣ было-бы однимъ изъ величайшихъ благодѣяній для нашего общества.

Самая мысль объ устройствѣ въ Петербургѣ правильно-организованныхъ публичныхъ лекцій — у насъ вовсе не новая. Она принадлежитъ Петру I.

Первоначальный планъ Академіи Наукъ, составленный Петромъ, послѣ личныхъ и письменныхъ объясненій съ Лейбницемъ, давалъ вовсе не такое назначеніе этому заведенію, какое оно получило впоследствии. Можетъ-быть ни одно изъ петровскихъ учрежденій не задумано было съ такой дальновидностью въ дѣлѣ русскаго просвѣщенія. Нуженъ-ли былъ въ русской жизни тотъ революціонный переворотъ, который совершенъ Петромъ во всѣхъ основахъ государственнаго быта, необходимъ-ли онъ былъ въ духѣ безусловнаго подражанія Западной Европѣ, это не касается настоящей статьи; но принимая реформу за совершившійся фактъ, мы должны согласиться, что учрежденіе Академіи Наукъ задумано вполне основательно. При крутомъ поворотѣ къ новой европейской жизни, ни кievская Академія, ни московская Законоспаская Школа не могли уже конечно быть представителями просвѣщенія въ Россіи. При отсутствіи исторической подготовки къ образованію въ нашемъ обществѣ, пельзя было и думать объ открытіи чисто-русской Академіи, университета, гимназіи или публичныхъ лекцій, по той простой причинѣ, что еще негдѣ было взять ни ученыхъ, ни студентовъ, ни учениковъ, ни охотниковъ для какихъ-нибудь чтеній. Оставалось открыть такое заведеніе, которое могло-бы служить основаніемъ для всѣхъ подобныхъ учрежденій въ будущемъ. И съ этой-то цѣлью Петръ задумалъ сложный планъ Академіи, какъ заведенія ученаго и образовательнаго.

Въ проектѣ указа объ учрежденіи Collegium Sapientiae, составленнаго вскорѣ по смерти Петра и по его плану, вполне опредѣляется это разностороннее назначеніе новаго заведенія. Вслѣдъ за вступленіемъ, гдѣ излагается мысль покойнаго императора объ учрежденіи Академіи, въ смыслѣ смѣшаннаго учено-учебнаго заведенія, слѣдуютъ самыя

статьи, подробно опредѣляющія ея цѣль и дѣйствія. Главнымъ назначеніемъ ученыхъ членовъ Академіи постановлено было съ одной стороны «науки производить и совершать», съ другой «обучать при себѣ нѣкоторыхъ людей, которые бы и сами молодыхъ людей первымъ рудиментамъ (основательствамъ) всѣхъ наукъ пока обучать могли», наконецъ «публично обучать молодыхъ людей, ежели которыя изъ нихъ угодны будутъ». Тутъ намекается уже на то, что въ составъ Академіи должны были войти и публичныя чтенія. Еще яснѣе это высказывается въ 34-й статьѣ, гдѣ говорится о лицахъ, допускаемыхъ къ слушанію академическихъ профессоровъ: «И на сіи профессоръ лекціи, *публично* отправлятися имущіе, *каждому* безъ всякихъ своихъ издигеній приходити свободно будетъ». Наконецъ въ 1741 году обнародовано было «Краткое изъясненіе о состояніи Академіи», въ которомъ изложено положеніе академическаго университета и гимназіи и обязанности профессоровъ. Здѣсь положеніе о публичныхъ лекціяхъ развито еще опредѣлительнѣе. «Должность и упражненіе профессоровъ, говорится въ Изъясненіи, въ томъ состоитъ, что они обязаны по дважды въ недѣлю присутствовать въ академическихъ конференціяхъ, а по четырежды своей наукѣ публично учить». (Ученныя Записки Имп. Академіи Наукъ по первому и третьему отдѣленіямъ. Томъ I и II).

Такимъ-образомъ въ Академіи Наукъ, основанной по плану Петра I, сливалось четыре учрежденія: ученое общество, имѣющее цѣлью обработку наукъ и труды по разнымъ отраслямъ знаній; университетъ, гдѣ академики были профессорами, а студенты получали стипендіи или состояли на академическомъ жалованьѣ, готовясь занять мѣста учителей; гимназія, въ которой преподавали академическіе адъюнкты и учились дѣти изъ всѣхъ сословій; наконецъ

публичныя лекціи академиковъ, открытыя для всѣхъ любознательныхъ людей.

Ученая дѣятельность Академіи и лекціи въ ея университетѣ и гимназіи начались, какъ извѣстно, въ 1726 г. Мы не будемъ много говорить объ этой сторонѣ академической дѣятельности. Во время открытія этого важнаго учрежденія, въ нашемъ обществѣ не было еще никакой подготовки ни для ученыхъ, ни для учебныхъ занятій; а потому естественно, что весь кружокъ академиковъ въ первое время необходимо долженъ былъ сложиться изъ однихъ иностранцевъ. Ясно, что ни кievская Академія, ни Славяно-греко-латинскія школы не могли дать своихъ ученыхъ для той новой научной дѣятельности, къ какой предназначалась петербургская Академія. Нѣмцы-ученые вербовались поэтому за-границей точно также, какъ нѣмцы-офицеры и нѣмцы-чиновники: чего ждали отъ Бауровъ и Миниховъ въ военномъ дѣлѣ, того-же надѣялись для просвѣщенія отъ Блуменстровъ, Эйлеровъ, Бульфингеровъ, Шлецеровъ. Иностранцы должны были образовать только кадры науки, какъ они образовали и кадры петровской арміи. Но правительство до Бирона вовсе не думало дѣлать изъ Академіи Наукъ привилегированной аренды для наѣзжихъ нѣмцевъ, а очевидно имѣло въ виду пользу русскаго общества. Въ томъ-же указѣ 1725 года, во 2-й статьѣ, говорится: «Дабы равно чужестрапныя, яко и наши подданныя къ раченію ученія вѣще воспалялися, мы особливую свою милость и тѣмъ, которые въ сей Академіи учившеся виды своихъ ученій покажутъ, общаемъ и паче всѣхъ прочихъ въ публичныя достоинства производить ихъ повелимъ, а особливо наши подданныя...» Но наука не создается по часамъ, не принимается по указамъ и командамъ; русскіе ученые не могли скороспѣлками вырости

изъ почвы вовсе къ тому не приготовленной, и понятно, что первые академики были всѣ иностранцы, и даже между студентами академическаго университета было много молодыхъ нѣмцевъ, наѣхавшихъ изъ-за границы.

Что касается академической гимназіи, то съ самаго основанія въ нее вошло, кромѣ иностранцевъ, много и русскихъ дѣтей изъ всѣхъ сословій. Въ спискѣ учениковъ гимназіи, съ 1726 по 1731 годъ, напечатанномъ въ III томѣ «Записокъ Академіи», мы видимъ, что въ ней были ученики отъ 5 до 20 лѣтъ, изъ семействъ разныхъ званій—дѣти графовъ и адмираловъ, генераловъ и отставныхъ солдатъ, священниковъ и дьяконовъ, купцовъ и ремесленниковъ, крестьянъ и казаковъ. Рядомъ съ дворянскимъ сыномъ сидѣлъ и его крѣпостной мальчикъ. Этотъ широкій доступъ въ гимназію, а оттуда и въ университетъ, показываетъ, что у насъ съ самаго начала этого учрежденія заботились ввести скорѣе русскій элементъ въ нѣмецкое ядро Академіи. Посылка русскихъ студентовъ за границу, въ парижскій и германскіе университеты, еще болѣе доказывала желаніе сдѣлать Академію заведеніемъ русскимъ. И цѣль эта начала достигаться даже скорѣе, чѣмъ можно-бы ожидать. Не смотря на то, что еще первый президентъ Блументростъ успѣлъ исказить первоначальный планъ, составленный по идеямъ Лейбница, не смотря на то, что въ президентство Корфа совсѣмъ было забыто постановленіе Петра о томъ, что «Академія должна сама себя править», и на-мѣсто-того явилась *академическая команда*,—однако учебная дѣятельность Академіи была не совсѣмъ бесплодна для Россіи. Въ тяжелую эпоху самаго усиленнаго преобладанія нѣмецкой партіи, при императрицѣ Аннѣ и Биронѣ, въ число академиковъ вошло уже нѣсколько молодыхъ русскихъ, которые въ скоромъ времени заявили свою дѣятельность

разными учеными трудами и особенно преподаваніемъ въ академическомъ университетѣ, и русскій элементъ началъ замѣтно усиливаться, особенно въ то время, когда учебныя заведенія стояли *подъ командой* Ломоносова.

Здѣсь не мѣсто распространяться о томъ, какъ съ одной стороны успѣхи образованія, а съ другой обнаруженные ходомъ дѣлъ недостатки Академіи вызвали время отъ времени различныя измѣненія и преобразованія въ ея устройствѣ. Когда по идеѣ Ломоносова былъ открытъ университетъ въ Москвѣ, гдѣ очевидно легче было придать высшему заведенію болѣе русскій характеръ, хотя и на тѣхъ же европейскихъ началахъ, съ того времени существованіе полувѣмцакаго академическаго университета въ Петербургѣ сдѣлалось бесполезнымъ, и онъ былъ закрытъ въ 1766 году. Съ началомъ настоящаго столѣтія дѣятельность Академіи еще болѣе измѣнилась: съ причисленіемъ ея къ министерству народнаго просвѣщенія и учрежденіемъ губернскихъ гимназій, прежняя академическая гимназія была признана не нужною и уроки въ ней съ 1803 года совсѣмъ прекратились. Разбирая теперь учебную дѣятельность Академіи въ ея университетѣ и гимназій, должно сказать, что при всей ея ограниченности и несовершенствѣ она была не совсѣмъ бесполезна: заведенія эти были первой реакціей противъ старой схоластики духовныхъ школъ, первымъ питомникомъ европейской науки въ Россіи.

Но въ какой степени Академія удовлетворила мысли Петра I о публичныхъ лекціяхъ? Какъ выполнила она его назначеніе «публично обучать молодыхъ людей, ежели которые изъ нихъ угодны будутъ»? Въ чемъ состояли эти лекціи, «публично отправлятися имущіе, куда каждому безъ всякихъ своихъ изживеній приходить свободно будетъ»?

Мы знаемъ, что всѣ идеи, положенныя Петромъ въ

основаніе Академіи, хотя въ нѣкоторой степени осуществились: ученое назначеніе ея, пройдя съ теченіемъ времени черезъ нѣсколько различныхъ фазисовъ, и до-сихъ-поръ проявляетъ свою дѣятельность трудами, въ которыхъ есть несомнѣнно научная польза; академическій университетъ, при посредствѣ Ломоносова и другихъ русскихъ профессоровъ, не смотря на ученую недѣятельность нѣмцевъ, породилъ нѣсколько другихъ русскихъ университетовъ, оказавшихъ неисчислимыя услуги въ дѣлѣ отечественнаго образованія; наконецъ гимназія академическая послужила основнымъ камнемъ губернскихъ гимназій. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ ученые нѣмцы, пріѣзжавшіе въ Россію такъ-же, какъ ѣздили другіе нѣмцы на службу къ Мехмету-Али, къ Типпо-Саибу, въ Тегеранъ, въ Пулково, безъ особенной любви къ странѣ и народу, съ одной цѣлью получать жалованье и добиваться отличій,— не успѣли совершенно исказить мысли Петра I и невольно что-нибудь сдѣлали. Но что-же случилось съ публичными лекціями Академіи, съ этою русской Collège de France, которая по проекту Петра должна была составлять одинъ изъ важнѣйшихъ отдѣловъ Академіи Наукъ?

Къ сожалѣнію дѣятельность Академіи въ этомъ отношеніи была очень пезначительна, и что еще печальнѣе— съ теченіемъ времени совершенно прекратилась. Конечно первоначальный составъ Академіи, цѣликомъ сформированной изъ однихъ иностранцевъ, служилъ уже препятствіемъ къ осуществленію мысли ея основателя. Что могли читать для петербургскихъ жителей нѣмецкіе, французскіе, итальянскіе ученые въ то время, когда знаніе иностранныхъ языковъ только-что начинало распространяться между русскими, да и то въ одномъ высшемъ обществѣ, которое менѣе всего могло показать симпатіи къ ученымъ чтеніямъ? Какое

участіе могли возбудить въ русской публикѣ средняго класса публичныя лекціи на чужомъ языкѣ, и кого могли онѣ привлекать въ залы Академіи? Понятно, что привести въ исполненіе эту часть академическаго устава нельзя было такъ скоро, какъ другія его стороны. Организовать эти публичныя чтенія невозможно было съ такою-же быстротою, какъ построить Ледяной-домъ на Невѣ или заказать академикамъ сочинить аллегорическую иллюминацію на какой-нибудь торжественный день. И дѣйствительно, въ первое десятилѣтіе дѣятельности Академіи большая часть профессоровъ, вѣжета, совсѣмъ не читала публичныхъ лекцій, и конечно мы не можемъ строго обвинять въ томъ ученыхъ нѣмцевъ, которые пріѣзжали и уѣзжали изъ Россіи, не зная ни слова по-русски и питая презрѣніе ко всѣмъ русскимъ книгамъ, кромѣ той, гдѣ они расписывались въ полученіи жалованья. Но несмотря на это, мысль Петра I не была совсѣмъ оставлена: публичныя лекціи все-таки открылись хотя и не на русскомъ языкѣ.

Въ сороковыхъ годахъ прошлаго вѣка профессора и адъюнкты читали уже публично по разнымъ предметамъ, вызывая черезъ отдѣльныя объявленія *«охотниковъ, а наче учиться желающихъ»*. Вотъ важнѣйшія изъ этихъ лекцій. Адъюнктъ Академіи *Христіанъ Крузій* «читалъ ораторію по правиламъ Цицероновымъ въ книгахъ его риторическихъ къ Гереннію и толковалъ для показанія примѣра ораціи Цицероновы». Адъюнктъ *Христлибъ Геллертъ* «толковалъ логику и метафизику Вольфову порядкомъ Тиммиговымъ публично». Докторъ медицины и профессоръ фізіологіи *Іосіасъ Вейбрехтъ* «въ публичныхъ своихъ лекціяхъ толковалъ фізіологію и нужныя къ тому эксперименты анатомическо-фізическіе показывалъ». Профессоръ *Георгъ Крафтъ* по два раза въ недѣлю читалъ «охотникамъ до

физической науки» лекціи изъ физики о движеніи и воздухахъ и публично показывалъ *физическіе эксперименты и курьозныя штуки* въ экспериментальной палатѣ». Всѣ эти чтенія и толкованія происходили на нѣмецкомъ языкѣ. По тѣмъ матеріаламъ, которые у насъ подъ рукою, мы не можемъ опредѣлить, что это были за лекціи и опыты, много-ли они привлекали слушателей и приносили пользы; но Академія постоянно извѣщала о нихъ въ вѣдомостяхъ, а иногда и отдѣльными афишами. Кажется, при этихъ первыхъ опытахъ открытыхъ чтеній, имѣли въ виду не столько учить, сколько забавлять публику, и едва-ли тѣмъ не ограничивались публичныя занятія нѣмецкихъ академиковъ по отдѣленію физико-математическому. Но какъ-бы ни было, важно то, что цѣль Петра начала такимъ-образомъ осуществляться, и вскорѣ послѣ физическихъ вунштниковъ Георга Крафта въ Академіи открылся лекціи и на русскомъ языкѣ.

Первый примѣръ чтенія такихъ русскихъ публичныхъ лекцій поданъ былъ, кажется, Ломоносовымъ въ 1750 году. Въ программѣ своихъ публичныхъ чтеній изъ *натуральной философіи* или физики, которыя начались въ этотъ годъ съ 30-го іюня, Ломоносовъ пишетъ слѣдующее: «Императорской Академіи Наукъ здѣсь присутствующіе члены по узаконенію премудраго ея основателя Петра Великаго, кромѣ обыкновенныхъ трудовъ, которые отъ нихъ полагаются на изысканіе новыхъ приращеній въ высокихъ наукахъ, должны трудиться въ наставленіи молодыхъ людей. По сему узаконенію они въ сей должности хотя и упражняются, однако ихъ ученія по сіе время предлагались на чужихъ языкахъ, и такъ купно и физическіе опыты въ Академіи Наукъ на російскомъ языкѣ никогда толкованы не были.» Итакъ черезъ двадцать четыре года послѣ ос-

нованія Академіи начались лекціи и на русскомъ языкѣ. Далѣе въ этой-же самой программѣ говорится: «Но какъ уже въ академическое собраніе нѣкоторые русскіе профессора вступили, то по указу правительствующаго сената Академіи Наукъ президентъ, ея императорскаго величества дѣйствительный камергеръ и кавалеръ, графъ Кирила Григорьевичъ Разумовскій опредѣлилъ, чтобы той-же Академіи членъ и профессоръ, господинъ Ломоносовъ показывалъ публично физическіе опыты по сокращенной Волфіанской Экспериментальной Физикѣ, и оныя-же толковалъ на русскомъ языкѣ, которые за помощію Божіею начнетъ онъ въ Академіи Наукъ въ физическихъ камерахъ, сего іюня 30 дня, по полудни въ началѣ третьяго часа, и будетъ оныя показывать по дважды въ недѣлю, по вторникамъ и пятницамъ, по два часа на день. Того ради Императорская Академія Наукъ желающихъ учиться натуральной Философіи на помянутые опыты призываетъ, ничего инаго отъ нихъ не желая, какъ только постоянного слушанія» (Сочин. Ломоносова, т. I, стр. 806—807). И послѣ этихъ лекцій Ломоносова, въ Академическихъ Вѣдомостяхъ довольно часто повторялись подобныя-же приглашенія на публичныя чтенія многихъ профессоровъ и адъюнктовъ. Ясно, что мысль Петра I объ этомъ учрежденіи начинала мало-по-малу проявляться на дѣлѣ.

При Екатеринѣ II, во время президентства въ Академіи Наукъ княгини Е. Р. Дашковой, публичныя лекціи на русскомъ языкѣ продолжались непрерывно каждое лѣто и повидимому начинали уже находить сочувствіе въ обществѣ и привлекать слушателей не одними любопытными опытами. Сама княгиня, кажется, вполне понимала важность этого учрежденія и заботилась о его развитіи, увеличивая число предметовъ публичныхъ лекцій. Вотъ что

говорить она въ своихъ запискахъ: « Я нашла возможность открыть три новыхъ кафедръ—математическую, геометрическую и естественной исторіи—для всѣхъ, желающихъ посѣщать лекціи, читанныя на русскомъ языкѣ. Я часто сама слушала ихъ и съ радостью убѣдилась въ томъ, что это учрежденіе принесло большую пользу». За лекціи эти, какъ видно изъ тѣхъ-же записокъ, профессора получали нѣкоторое вознагражденіе изъ экономическихъ суммъ Академіи, по окончаніи курса. Но это было, кажется, послѣднее время публичныхъ чтеній, и съ преобразованиемъ Академіи въ 1803 году, онѣ прекратились окончательно.

Такимъ-образомъ мы видимъ, что по основному плану петербургской Академіи Наукъ, составленному по волѣ Петра I, при этомъ учепомъ заведеніи учреждалось что-то подобное парижской Collége de France, и что самыя публичныя лекціи существовали въ немъ въ продолженіе почти всей половины прошлаго столѣтія, сначала на языкахъ иностранныхъ, а потомъ, съ замѣщеніемъ нѣкоторыхъ кафедръ русскими учеными, и на языкѣ отечественномъ, при чемъ дѣлались и объяснялись физическіе опыты. Въ какой степени важна была самая мысль объ устройствѣ постоянныхъ публичныхъ чтеній и какъ благотѣльно должны были они дѣйствовать на общество, если-бы предпріятіе это вполне созрѣло,—въ наше время понятно всякому, кто только вдумывался въ ходъ нашего образованія. Но если это дѣло не вполне осуществилось и не принесло настоящихъ плодовъ, то по нашему мнѣнію въ этомъ нельзя обвинять ни Петра Великаго, ни русское общество прошлаго вѣка. Поставляя въ обязанность академикамъ читать публичныя лекціи и въ то-же время набирая за-границею иностранныхъ ученыхъ, совсѣмъ не знакомыхъ съ русскимъ языкомъ, Петръ конечно долженъ былъ понимать, что

учрежденіе это не может осуществиться въ короткое время, что эти чтенія на чужихъ языкахъ не въ-состояніи привлечь много слушателей и привести какую-нибудь прямую пользу; но онъ безъ сомнѣнія полагалъ, что первыя публичныя лекціи нужны только какъ основаніе учрежденія, отъ котораго, съ постепеннымъ приливомъ русскаго элемента въ Академію, можно будетъ ожидать въ послѣдствіи самыхъ выгодныхъ результатовъ. Точно также въ упадѣ и совершенномъ уничтоженіи академическихъ лекцій нельзя винить и наше общество: любовь къ наукѣ не передается мгновенно цѣлымъ массамъ и не возбуждается припевами или приманками, а растетъ и зрѣетъ постепенно, при постоянномъ и стройномъ развитіи общественнаго образованія.

Какъ-бы то ни было, но публичныя академическія чтенія, едва только начали получать нѣкоторый смыслъ и возбуждать сочувствіе въ публикѣ, были отмѣнены и наконецъ совсѣмъ забыты и въ самомъ обществѣ. Главной причиною несостоятельности этого учрежденія было кажется то, что составъ Академіи слишкомъ медленно пополнялся русскими элементами, и она продолжала отличаться преимущественно нѣмецкимъ характеромъ, не столько отъ недостатка у насъ собственныхъ ученыхъ, сколько оттого, что въ этомъ замѣнутомъ иноземномъ воеводствѣ, на которомъ наслѣдственно кормились разные выходцы, русскій умъ встрѣчалъ оппозицію. Съ другой стороны, академическая «команда» и люди бывшіе въ главѣ Академіи все болѣе и болѣе отступали отъ основной мысли Петра, или по своей ограниченности, или по апатіи; а являвшіеся изрѣдка свѣтлыя личности не въ силахъ были бороться съ интригой нѣмецкой партіи, понимавшей очень-хорошо, что съ развитіемъ академическихъ публичныхъ лекцій русскіе ученые

рано или поздно восторжествуютъ надъ иноземной корпораціей.

Дѣятельность Академіи Наукъ между-тѣмъ не оправдывала ожиданій правительства, и оно время отъ времени прибѣгало къ различнымъ реформамъ въ ея устройствѣ. Регламентъ 1747 года, пересмотръ Устава при Екатеринѣ II, окончательное преобразование Академіи и причисленіе ея къ министерствѣ народнаго просвѣщенія въ 1803 году, и наконецъ присоединеніе къ ней Россійской Академіи въ 1841 году—были вызваны тѣмъ, что это ученое учрежденіе не достигало своей цѣли, продолжалъ быть какой-то арендой для иностранцевъ ученаго цѣха. Къ сожалѣнію при всѣхъ этихъ многочисленныхъ реформахъ совершенно опускались изъ виду публичныя лекціи, задуманныя Петромъ, и напослѣдокъ мало-по-малу онѣ были и совсѣмъ забыты. Но оставляя въ сторонѣ то, что это прекрасное учрежденіе по непониманію и эгоизму было представлено въ глазахъ правительства, какъ бесполезное и несвоевременное, и наконецъ уничтожено прежде, чѣмъ ему дали развиться и созрѣть, мы желаемъ только предложить вопросъ: не пора-ли вспомнить объ этомъ старомъ учрежденіи, не пора-ли при усиливающемся развитіи нашего образованія взглянуть внимательнѣе и яснѣе на мысль Петра I о публичныхъ чтеніяхъ при Академіи Наукъ?

Всякій понимаетъ конечно, что Академія, какъ учрежденіе по-преимуществу ученое, не могла и не должна быть въ тоже время заведеніемъ учебнымъ и воспитательнымъ, заключать въ себѣ и университетъ, и гимназію. Вопросъ о невозможности и ненужности такого раздробленія ея дѣятельности давно уже рѣшенъ окончательно. Но сколько мы понимаемъ, постоянныя публичныя лекціи при Академіи уничтожились вовсе не потому, чтобы онѣ не соот-

вѣтствовали назначенію заведенія, но только вслѣдствіе того, что неблагопріятныя обстоятельства не дали имъ утвердиться, показать всю свою пользу и дать видныя плоды,—а ученые мужи, или неспособные къ такому нетеоретическому занятію, или предпочитавшіе ему ученый сонъ, успѣли внушить кому слѣдовало мысль, будто подобныя чтенія не согласны съ назначеніемъ академиковъ и отвлекаютъ ихъ отъ великаго служенія наукъ на казенныхъ квартирахъ. Намъ кажется, что настало время взглянуть на этотъ предметъ не съ точки зрѣнія человѣка, которому онъ можетъ помѣшать покоиться въ пріятномъ ничего-недѣланьѣ, а въ однихъ видахъ общественной пользы.

Что публика наша созрѣла для публичныхъ лекцій и чувствуетъ въ нихъ потребность, это—какъ мы уже говорили — теперь ясно доказывается открытыми чтеніями, которыя съ каждымъ годомъ привлекаютъ все болѣе многочисленную публику. Не говоря уже о чтеніяхъ нашихъ замѣчательныхъ ученыхъ, даже лекціи весьма посредственныя по составу, исполненію и по предметамъ далеко не общедоступнымъ привлекаютъ всегда не мало слушателей. Не пора-ли послѣ этого подумать намъ о лекціяхъ постоянныхъ и при томъ самомъ заведеніи, гдѣ онѣ были обязательно учреждены его основателемъ и читались уже въ продолженіе цѣлаго полстолѣтія. Кажется, время для этого настало. Мы съ своей стороны думаемъ, что еслибы въ настоящій академическій уставъ снова введена была основная мысль Петра I, и еслибы по примѣру Ломоносова наши академіи открыли постоянныя лекціи по разнымъ отдѣленіямъ,—то залы Академіи Наукъ въ настоящее время привлекали-бы многочисленную публику, и эта Русская Коллегія принесла-бы нашему обществу никакъ не менѣе пользы, чѣмъ всѣ многотрудные подвиги нашей Академіи въ дѣлѣ науки.

Но можетъ-быть иныя спросятъ при этомъ: не отвлекутъ-ли такия чтенія нашихъ академиковъ отъ ихъ чисто-ученой дѣятельности и не пострадаетъ-ли оттого самая пауза, вѣренная ихъ попечительнымъ заботамъ? Кто знакомъ съ дѣятельностью нашей Академіи, тотъ при всемъ уваженіи къ ней сознается безпристрастно, что труды ея членовъ не поглощаютъ всего ихъ времени и не отличаются тѣми громадными размѣрами, которые не позволяли-бы удѣлить часъ или два въ недѣлю на чтеніе публичныхъ лекцій. Не говоря о степени важности этихъ трудовъ, можно только замѣтить, что они постоянно и удачно совмѣщались съ разнаго рода казенною службою въ мѣстахъ, имѣющихъ не совсѣмъ прямое отношеніе къ ученымъ занятіямъ. Ломопосовъ не меньше нашихъ современныхъ знаменитостей сдѣлалъ для науки, но онъ читалъ-же публичныя лекціи, и онъ не мѣшали ему писать и ученые трактаты, и разнообразныя проекты, не говоря уже о его занятіяхъ поэзіею. Кто служить обществу, живетъ въ немъ не чуждымъ растеніемъ, а живымъ членомъ народнаго организма, тотъ при самыхъ разнообразныхъ трудахъ не откажется удѣлить нѣсколько свободныхъ минутъ на его пользу. Мы увѣрены, что многіе изъ нашихъ академиковъ безъ затрудненія нашли-бы свободныя часы отъ своихъ ученыхъ трудовъ и съ удовольствіемъ пожелали-бы быть полезными. Въ настоящемъ составѣ Академіи не мало достойныхъ людей, которые немедленно воспользуются подобнымъ учрежденіемъ и съ любовью примутся за лекціи; а если кому-нибудь подобный трудъ окажется не по силамъ или не понравится среди научной обломовщины, то общественное мнѣніе скоро освѣжитъ эти поросшія плѣсенью мѣста, сдуетъ пыль, вывѣтрить гниль, и на нихъ явятся люди съ полной готовностью къ общепользному дѣлу. И повторяемъ,

что на этомъ поприщѣ Академія принесла-бы не меньше пользы, чѣмъ по тѣмъ трудамъ, съ которыми мы знакомимся изъ ея годовыхъ отчетовъ.

Подобныя чтенія, принося очевидную пользу той части публики, которая нуждается въ популярныхъ знаніяхъ, но не приготовлена къ университетскому курсу или почему-нибудь не можетъ имъ воспользоваться, въ то-же время приобретутъ уваженіе въ обществѣ къ самой Академіи Наукъ, сдѣлаютъ ее несравненно популярнѣе и обратятъ большее вниманіе на самыя ея ученые труды. Потребность въ новомъ преобразованіи Академіи чувствуется теперь всѣми просвѣщенными людьми, и мы полагаемъ, что возобновленіе мысли Петра I о постоянныхъ публичныхъ чтеніяхъ при этомъ заведеніи было-бы важнѣйшимъ актомъ этого преобразованія, полезнымъ для науки и общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ дало-бы раціональное разрѣшеніе вопросу о публичныхъ лекціяхъ. Такимъ-образомъ, по нашему мнѣнію, оставляя университетъ чѣмъ онъ былъ и долженъ быть, съ его студентами и вольными слушателями, въ то-же время есть возможность, приведя въ исполненіе мысль Петра Великаго, устроить въ Петербургѣ безъ всякихъ издержекъ заведеніе въ родѣ Collège de France, которое послужитъ живой связью Академіи Наукъ съ обществомъ, оживитъ ея собственную дѣятельность и наконецъ удовлетворитъ одной изъ насущныхъ потребностей нашего современнаго общества.

ПРЕСТУПНИКИ И НЕСЧАСТНЫЕ.

(«Записки изъ Мертваго Дома» Ф. Достоевскаго).

~~~~~

Кому не случалось видѣть на большой дорогѣ или даже на городскихъ улицахъ толны людей, въ сѣрыхъ курткахъ и шенеляхъ, съ бритыми головами, которые въ сопровожденіи конвойныхъ солдатъ и повозокъ бредутъ, тяжело передвигая скованныя ноги? Кто не знаетъ, что эти сѣрыя толны постоянно направляются къ востоку и почти никогда не возвращаются въ обратномъ направленіи? Кто не слыхалъ, что это преступники или, какъ говоритъ нашъ народъ, несчастные, наказанные закономъ, которые, простясь съ родиной, могилами отцовъ и колыбелями дѣтей, идутъ въ Сибирь, гдѣ однихъ ждетъ новая трудовая жизнь, а другихъ каторжная работа, болѣе или менѣе продолжительная! Все это намъ хорошо извѣстно.

Но многіе-ли знаютъ отчетливо, что это за преступники или несчастные, какія совершили они преступленія и при какихъ обстоятельствахъ, что такое эта каторга и какая въ ней ожидаетъ ихъ жизнь? Вѣроятно, при этой

мысли мы отвѣтимъ, что каторжные не что иное, какъ убійцы и разбойники, осужденные на дальнее поселеніе или на работы въ сибирскихъ рудникахъ. Вотъ все, что извѣстно объ этомъ большинству нашей публики. Да откуда же намъ и узнать это подробнѣе и яснѣе? Толпы каторжныхъ, постоянно двигаясь на востокъ, остаются за Ураломъ, и рѣдко кто возвращается изъ-за этой каменной стѣны. Свободные люди, уѣзжающіе въ Сибирь на службу или по промысламъ, если и встрѣчаютъ поселенцевъ, освобожденныхъ изъ каторги, то узнаютъ отъ нихъ очень немного, потому-что эти люди не охотно говорятъ о своихъ минувшихъ несчастіяхъ или не знаютъ, что именно сказать и на что указать.

Еще жизнь уволенныхъ отъ работъ поселенцевъ доступна для посторонняго наблюдателя, и мы встрѣчали въ нашей литературѣ очерки этого быта, нерѣдко довольно вѣрные и полные. Но самая каторга, ея жизнь и нравы, составъ ея страшнаго общества—оставались для насъ рѣшительно недоступною *terra incognita*. До-сихъ-поръ у насъ не было Данта, который самъ спустился-бы въ эти вертепы преступленія и страданій, приглядѣлся къ страшнымъ сценамъ этого чистилища и ада, изучилъ нравы и бытъ этихъ непогребенныхъ мертвецовъ и передалъ намъ все это въ полной и живописной картинѣ.

Первымъ сочиненіемъ по этому предмету дарить нашу литературу Ф. М. Достоевскій, въ своихъ «Запискахъ изъ Мертваго Дома». Съ первыхъ страницъ его книги вы входите въ міръ совершенно новый и неизвѣстный, слѣдите за раскатиномъ съ напряженнымъ любопытствомъ и участіемъ. Это одно изъ такихъ сочиненій, которыя приковываютъ ваше вниманіе поразительной свѣжестью впечатлѣнія, точно книга какого-нибудь Ливигстона, сообща-

ющаго открытія въ незнакомомъ и любопытномъ мірѣ, съ тою разницею, что англійскій путешественникъ рассказываетъ о странахъ, хотя до-сихъ-поръ таинственныхъ, но все-же несовсѣмъ недоступныхъ, между-тѣмъ какъ авторъ «Мертваго Дома» знакомитъ насъ съ другимъ, можно сказать загробнымъ свѣтомъ, въ который не ступала нога писателя или изъ котораго она еще не выходила.

Картина Мертваго Дома, или каторжнаго острога, въ который вводитъ насъ Достоевскій, поразительна своей новостью и страшной правдою.

Съ самыхъ далекихъ временъ народная фантазія или воображеніе поэтовъ представляли намъ адъ, какъ мѣсто вѣчной казни, на которую обрекаетъ небесное правосудіе за преступленія и злодѣйства. Вспомните тартаръ древнихъ грековъ, окруженный пламеннымъ Флегетономъ, гдѣ Танталъ изнываетъ въ неутолимой жаждѣ, Сизифъ вѣчно катитъ на гору свой камень и Данаиды осуждены на страшно-безплодный трудъ наливать бездонную бочку. Вспомните адъ Данта, съ его безконечными изгибами, гдѣ преступники закованы въ никогда не тающіе льды, захлебываются въ удушливо-смердномъ болотѣ и гдѣ Уголино вѣчно вгрызается окровавленными зубами въ черепъ Руджіеро. Вспомните наконецъ хаотическій адъ Байрона, на блуждающей кометѣ, полный мукъ въ одномъ существованіи безъ свѣта и жизни, безъ страстей и даже страданій, въ одной призрачной и томительной безличности. Передъ этими страшными картинами вы останавливаетесь съ трепетомъ и жалостью, съ негодованіемъ на порокъ и укоризною на жестокость суда.

Такіе-же чувства пробудили въ насъ и «Записки изъ Мертваго Дома». По мѣрѣ чтенія, намъ казалось, что Достоевскій, точно Вергилій, ведетъ насъ въ какой-то

страшный міръ страданій, въ какой-то новый адъ, только не фантастическій, а дѣйствительный, и показываетъ намъ такія-же преступленія и страданія, но тѣмъ болѣе ужасныя, что это не вымыселъ поэта, а голая правда.

Какъ при входѣ дантова ада вы встрѣчаете страшную надпись: *lasciate ogni speranza, voi ch'entrate*, такъ и здѣсь съ первымъ шагомъ въ каторжный острогъ авторъ говоритъ вамъ: «надобно полагать, что нѣтъ такого преступленія, которое-бы не имѣло здѣсь своего представителя». И посмотрите, какая мрачная картина открывается вамъ за острожнымъ частоколомъ, среди этого отверженнаго общества. Какъ въ изворотахъ дантова ада, въ Мертвомъ Домѣ три отдѣла: первый слой составляютъ каторжные военного разряда, не лишеныя правъ состоянія и присланные на короткіе сроки въ чистилище, изъ котораго они выходятъ въ сибирскіе батальоны; ко второму принадлежатъ ссыльно-каторжные разряда гражданскаго, присылаемые на сроки отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ, послѣ чего они обращаются въ поселенцы по волостямъ, гдѣ иныхъ ждетъ можетъ-быть и спокойная жизнь. Наконецъ въ послѣднемъ словѣ этого ада есть особое отдѣленіе, называемое «всегдашнимъ»; куда поступаютъ преступники, обреченные на безсрочныя работы и называющіе себя *отчужденными*. Всѣ живутъ въ общихъ казармахъ—и разбойники по натурѣ, и убійцы по ремеслу, и преступники невзначай, и злодѣи изъ фанатизма, и несчастные, которыхъ натолкнулъ на преступленіе случай, и страдалцы виновные только въ несходствѣ своего образа мыслей съ убѣжденіями общественной силы и власти. Все это лица мрачныя, почти всегда молчаливыя, въ отверженномъ костюмѣ: у однихъ половина куртки темнобурая, а половина сѣрая, у другихъ вся куртка сѣрая, а рукава темнобурые. Днемъ шумъ,

гамъ, хохоть, ругательства, звукъ цѣпей, чадъ и копотъ, бритыя головы, клейменныя лица, лоскутныя платья; ночью сонный говоръ и бредъ, въ которомъ слышатся воровскія слова, ножи, топоры. Отвращеніе и ненависть къ работѣ, воровство, шпионство и доносы, безпрестанныя наказанія, контрабандная торговля виномъ, ростовщичество — «вотъ узы страшнаго семейства». И какая жизнь: постель на трехъ доскахъ грязныхъ наръ, щи съ огромнымъ количествомъ таракановъ, по ночамъ азартныя игры, иногда пьяный арестантъ въ одинъ праздникъ пропивающій деньги, накопленные въ цѣлые мѣсяцы, и въ этой толпѣ изъ двухсотъ-пятидесяти человѣкъ пришлецы со всѣхъ концовъ Россіи, раскольники, поляки, черкесы, татары, — въ буквальномъ смыслѣ самая разнородная смѣсь

Племень, варѣчій, состояній!

Не правда-ли, что эта картина ничѣмъ не уступаетъ страшной картинѣ ада, созданнаго Дантомъ? Не кажется-ли она даже вымысломъ мрачной фантазіи, порожденіемъ ужаснаго настроенія духа, въ которомъ поэтъ хотѣлъ нарисовать намъ самыя страшныя картины нечеловѣчески-уродливой жизни? И не становится-ли еще ужаснѣе эта картина, когда мы знаемъ, что она не въ глубинѣ преисподней, а на поверхности земли, въ нашемъ божьемъ мірѣ, освѣщенномъ солнцемъ, наполненномъ благоуханіемъ цвѣтовъ; что это не безтѣлесныя тѣни отжившихъ, а живые люди съ плотью и кровью, которые хотъ и умерли нравственно, но еще живутъ тѣломъ, головою и даже сердцемъ? Не поучительно-ли заглянуть въ печальный міръ этихъ людей, оторванныхъ отъ общества преступленіемъ, совершеннымъ подъ различными психическими условіями, при различіи темперамента, воспитанія, жизненной обстановки, нравственныхъ началъ или противорѣчія съ общественными

законами? Не любопытно-ли всмотрѣться въ это общество, сведенное и поддерживаемое въ принужденной работѣ, составленное изъ существъ съ исключительными страстями и надеждами? И Достоевскій представляетъ намъ рядъ портретовъ, чрезвычайно разнообразныхъ и типичныхъ.

Вотъ страшный разбойникъ Газинъ, который не разъ бѣгалъ, перемѣнялъ имя и попалъ въ «особое отдѣленіе». Про него рассказывали, что онъ заведетъ ребенка, напугаетъ, измучаетъ его, и насладившись вполне трепетомъ маленькой жертвы, зарѣжетъ ее медленно. Вотъ злодѣй Орловъ, уличенный во многихъ убійствахъ. Пройдя сквозь строй половину назначеннаго числа палокъ, онъ возвращается съ опухлой спиною кроваво-синяго цвѣта и торопится выписаться изъ лазарета, чтобы совсѣмъ покончить съ наказаніемъ. «Выхожу остальное число ударовъ, говоритъ онъ товарищамъ, и тотчасъ-же отправятъ въ Нерчинскъ, а я-то съ дороги бѣгу, непременно бѣгу, только-бы спина зажила!» Вотъ шестидесятилѣтній благодушный старичекъ изъ старообрядцевъ-вѣтковцевъ, сосланный за поджегъ построенной правительствомъ единовѣрческой церкви. А вотъ Сироткинъ, кроткій юноша, который дотога не влюбилъ солдатской жизни, что рѣшился посредствомъ убійства выйти изъ нея въ безсрочную каторжную работу. А наивный Акимъ Акимовичъ, который будучи офицеромъ на Кавказѣ, зазвалъ къ себѣ мятежнаго князька, разстрѣлялъ его по собственному усмотрѣнію и обстоятельно донесъ о своемъ распоряженіи начальству. А трое братьевъ дагестанцевъ, сосланные за разбой на большой дорогѣ — и особенно Алей, возбуждающій состраданіе, какъ грустная тѣнь Франчески посреди дантова ада.

Безъ-сомнѣнія все это преступники, болѣе или менѣе увлотившіеся отъ настоящаго общественнаго порядка, и

никакіе современные законы не оставили-бы ихъ безъ наказанія. Но здѣсь невольно являются вамъ вопросы, хотя можетъ-быть и не новые, но однакожъ и далеко не рѣшенные.

При первомъ взглядѣ на страшную картину острога, вамъ приходитъ мысль: какъ можетъ сжиться съ такимъ мѣстомъ человѣкъ, брошенный сюда изъ быта достаточной жизни, не за злодѣйство противоестественное, но по тѣмъ обстоятельствамъ, вслѣдствіе которыхъ русскій народъ такъ гуманно даетъ ссыльнымъ знаменательное названіе несчастныхъ? Авторъ рѣшаетъ этотъ вопросъ живучестью человѣка, говоря, что это — существо ко всему привыкающее. И читая Записки г. Достоевскаго, дѣйствительно готовъ согласиться съ этимъ остроумнымъ опредѣленіемъ. Далѣе вы спрашиваете: неужели въ этомъ земномъ аду все должно быть подведено въ одну мѣрку, и законъ равно неумолимо долженъ карать безчеловѣчнаго Газина и наивнаго Акима Акимыча, ужаснаго разбойника Орлова и несчастнаго Алея? Если правосудіе представляютъ намъ слѣпымъ, то неужели оно должно оставаться и глухимъ въ голосу человѣческаго сердца, къ вопіющимъ правамъ справедливости! Въ каторжномъ быту, по степени преступленій, есть и градациі въ наказаніяхъ, но всѣ онѣ основаны не на различіи работъ или помѣщенія, а только на одномъ неравенствѣ срока каторжной ссылки. Не ужаснѣе-ли это дантова ада? Тамъ Франческа Римини не брошена въ одну ледяную пропасть съ свирѣпымъ Руджіеро, тамъ поэтъ Гораций и гражданинъ Катонъ не скованы вмѣстѣ съ отцеубійцами; а здѣсь страшный злодѣй Газинъ спитъ на однихъ нарахъ съ наивнымъ лезгиномъ Нуррою, виноватымъ въ однихъ дерзкихъ наѣздахъ, и вротекимъ, простодушнымъ Алеемъ, котораго все преступленіе въ томъ, что онъ по восточной па-



тріархальности слѣпо повиновался старшимъ братьямъ! И сколько здѣсь, на ряду съ разбойниками по ремеслу, людей преступныхъ по легкомыслію, даже по образу мыслей, нетерпимыхъ можетъ-быть въ одно время и вовсе не преступныхъ въ другую, болѣе свѣтлую эпоху. Къ счастью, благодаря успѣхамъ нашего времени, теперь, по словамъ автора, все это значительно смягчилось, и нѣтъ сомнѣнія, что въ послѣдствіи измѣнится еще болѣе...

Давно не встрѣчали мы въ нашей литературѣ сочиненія, которое дѣйствовало-бы на читателя такъ увлекательно, какъ записки изъ «Мертваго Дома». Неистощимый интересъ этого разсказа то поражаетъ васъ ужасомъ, то вызываетъ слезы участія и жалости, то заставляетъ задуматься надъ темной задачей человѣческаго сердца. Это совершенно новый міръ, до-сихъ-поръ знакомый вамъ только по наслышкѣ, который наводитъ васъ на множество мыслей и вопросовъ, психическихъ и соціальныхъ.

Но можетъ-быть скажутъ, что достоинство сочиненія Достоевскаго зависитъ именно отъ новости предмета, до-сихъ-поръ никѣмъ нетронутаго, и слѣдовательно успѣхъ книги обезпечивается даже при отсутствіи искусства и значительнаго таланта. Стоитъ однако прочесть нѣсколько страницъ изъ «Мертваго Дома», чтобы понять несправедливость подобнаго предположенія. Предметъ, конечно, самъ-по-себѣ чрезвычайно новъ, интересенъ и съ первыхъ строкъ подкупаетъ вниманіе читателя; но мы того мнѣнія, что Достоевскій обнаружилъ здѣсь талантъ гораздо больше, чѣмъ въ другихъ своихъ сочиненіяхъ, не исключая и Бѣдныхъ Людей. Въ картинахъ «Мертваго Дома» мы видимъ истиннаго художника.

Конечно, все содержаніе этого сочиненія взято изъ дѣйствительной жизни, безъ всякаго изобрѣтенія. Но это-

же теперь не знаетъ, что творчество состоитъ не въ придумываніи замысловатыхъ сюжетовъ и эффектныхъ сценъ, а въ искусствѣ изъ началъ, представляемыхъ жизнью, создать ясную картину, во множествѣ видѣнныхъ нами лицъ угадать полные типы и изъ дѣйствительности перенести ихъ въ область прекраснаго. Это сдѣлалъ Гоголь въ «Мертвыхъ Душахъ» это сдѣлалъ Крестовскій въ своемъ романѣ «Въ ожиданіи Лучшаго». Такое-же художественное значеніе видимъ мы и въ сочиненіи Достоевскаго. Его «Мертвый Домъ» не дагеротипный снимокъ каторжнаго острога, а художественная картина, которая съ достоинствомъ фотографіи соединяетъ все обаяніе красокъ, даетъ не одинъ какой-нибудь моментъ выраженія человѣческаго лица, а всю игру его фیزیоміи, что умѣетъ всецѣло выразить одинъ истинный художникъ. Когда вы прочтете сочиненіе, у васъ остается картина полная и неизгладимая: какъ не забудете вы русской провинціи въ помѣщикахъ «Мертвыхъ Душъ», или гостиней княгини Десятовой, которая, въ ожиданіи лучшаго, служитъ представительницей нашихъ салоновъ, такъ точно никогда не забудете ужасной и печальной жизни, съ которою познакомилъ насъ Достоевскій въ своемъ «Мертвомъ Домѣ».

Читатели знаютъ, что это за жизнь. Но посмотрите, какъ взглянулъ на нее авторъ. Онъ умѣлъ освѣтить ее такимъ высоко-гуманнымъ свѣтомъ, согрѣтъ такимъ теплымъ чувствомъ, какія можно встрѣтить только въ сочиненіи, глубоко и долго зрѣвшемъ въ душѣ, полной любви и сочувствія къ людямъ. Въ каждомъ преступникѣ онъ ищетъ человѣка, и каждый его портретъ есть теплый, задушевный вопросъ, поставленный передъ обществомъ во имя правды или человѣколюбія. И какое высокое умѣнье въ немногихъ чертахъ рисовать характеры такъ, что вы

видите ихъ во всей полнотѣ: Достоевскій едва набрасываетъ свои лица, но вы, кажется, читаете всю прошлую жизнь ихъ, даже угадываете ихъ будущую судьбу. Это немного удивило насъ. У автора «Бѣдныхъ Людей» мы находили прежде любовь къ деталямъ, къ анализу сердца и характера въ чертахъ мелкихъ и тонкихъ; здѣсь мы видимъ совершенно иной пріемъ — умѣнье въ немногихъ, но крупныхъ чертахъ представлять полный и окончанный образъ. И по нашему мнѣнію, это больше удастся Достоевскому. Мы знаемъ его Макара Алексѣвича такъ, какъ будто-бы передъ нами было разсѣчено его сердце и всякое бѣненіе его повторилось нѣсколько разъ, но процессъ этого анатомическаго анализа утомляетъ; здѣсь безъ всякаго напряженія вы узнаете челоѣка во всей полнотѣ его натуры. Немногими взмахами карандаша Достоевскій рисуетъ намъ Орлова, Газина, Акима Акимыча, Стародубскаго старичка, а мы знаемъ ихъ такъ, какъ-будто сами прожили съ ними цѣлыя годы.

Съ перваго взгляда чтеніе записокъ изъ «Мертваго Дома» можетъ поразить нѣкоторой безпорядочностью изложенія: авторъ нерѣдко начинаетъ какой-нибудь очеркъ *ex abrupto*, дѣлаетъ рѣзкіе переходы отъ одного предмета къ другому и снова возвращается къ первому, многое не оканчиваетъ, иное повторяетъ, чтобы прибавить нѣкоторыя черты къ набросанной прежде картинѣ или образу, очень часто говоритъ: «объ этомъ скажу послѣ, это разскажу впослѣдствіи». Въ другомъ сочиненіи это могло-бы показаться недостаткомъ; въ «Мертвомъ Домѣ» такіе пріемы не только не вредятъ сочиненію, но вполне гармонируютъ съ его содержаніемъ: поддерживая васъ постоянно въ какомъ-то раздраженномъ состояніи, эта манера только усиливаетъ впечатлѣніе, производимое хаотической картиною

острога. Здѣсь обыкновенная стройность противорѣчила-бы всей обстановкѣ каторжной жизни.

Скажемъ въ заключеніе, что «Записки изъ Мертваго Дома», по нашему крайнему разумѣнію, ожидаетъ огромный успѣхъ, — не въ большинствѣ журнальной критики, умѣющей только отрыгать жвачку того, что поднесено ей наканунѣ, а не сегодня, по между нашей публикой, въ которой еще Бѣлинскій подмѣтилъ инстинктъ угадывать свѣжее и здоровое въ литературѣ, не по указанію присяжныхъ арistarховъ, а по собственному живому чутью. Явленія, подобныя «Мертвому Дому» Достоевскаго — не минутныя эфемериды, порожденныя какимъ-нибудь мгновеннымъ интересомъ или увлеченіемъ, а сочиненія, которыя живутъ и не умираютъ въ литературѣ, какъ памятники своего вѣка и общества. «Записки изъ Мертваго Дома» безъ-сомнѣнія переживутъ и самые мертвые дома, которые должны перестроиться до основанія съ успѣхами просвѣщенія и обобщеніемъ идей о человѣческомъ достоинствѣ.

---

## НАША ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА.

(«Псковитянка» Л. Мей).

Въ нашей литературѣ и критикѣ есть страппости, которыя поражаютъ всякаго, кто только не причастенъ ихъ капризамъ. Мы гордимся своимъ литературнымъ богатствомъ, любимъ отзываться свысока объ иностранныхъ писателяхъ, особенно французскихъ, указывать на свое превосходство въ пониманіи изящныхъ произведеній; а между-тѣмъ у насъ часто совершаются явленія, которыя показываютъ шаткость въ нашихъ эстетическихъ воззрѣніяхъ. Упрекая французскихъ критиковъ въ легкости взгляда, мы сами буримъ оиміамъ передъ минутными кумирами и съ холоднымъ презрѣніемъ отвертываемся отъ того, что оставлено въ тѣни по капризу нашей критики. У насъ поднимается иногда восторженный шумъ и слышится немолчаемый гулъ набата изъ-за какой-нибудь повѣсти или даже отрывка, а иногда нетолько замѣчательные таланты, но даже цѣлые роды литературы остаются въ пренебреженіи, потому-что какому-нибудь авторитету угодно было когда-то ихъ унижить. Такъ у насъ цѣлые годы превозно-

силы «Сонъ Обломова», и въ то-же время десятки лѣтъ оставались въ презрѣннѣ историческій романъ и историческая драма, какъ фальшивый родъ искусства, который отжилъ будто-бы свое время и никогда уже не подымется изъ забвенія.

Судьба историческаго романа и драмы составляетъ одинъ изъ самыхъ печальныхъ фактовъ въ исторіи нашей литературы.

Историческій романъ Вальтеръ-Скотта явился у насъ въ эпоху, крайне-неблагопріятную для этого рода искусства. Исторія наша въ то время едва только получила значеніе науки, историческая критика почти еще не установилась, лѣтописи были далеко не всѣ обнародованы и разобраны, литературные памятники древней жизни оставались почти неизвѣстными, археологическое изученіе народнаго быта находилось въ дѣтствѣ,—однимъ словомъ, у насъ не было подготовки для того рода искусства, который требуетъ выработанныхъ историческихъ матеріаловъ. Между-тѣмъ мы не могли не увлечься обаятельной силой великихъ образцовъ англійскаго романиста, и понятно, что у насъ должны были явиться опыты историческаго романа. Но здѣсь съ перваго взгляда видно, чего можно было ждать отъ этого романа въ русской литературѣ, при томъ состояніи, въ какомъ находилась у насъ исторія. Выработанная Карамзинымъ по древне-исторической формѣ, она могла дать матеріалы только для созданій подобныхъ его сантиментально-напыщенной Марѣ Посадницѣ. Настоящій историческій романъ былъ у насъ почти невозможенъ, даже и при талантѣ самого Вальтеръ-Скотта. Откуда-же было романисту проникнуться духомъ исторической жизни, когда всѣ матеріалы для изученія ея ограничивались какими-нибудь записками Олгарія и Герберштейна, да тощими замѣт-

ками лѣтописцевъ! Ясно, что съ старымъ бытомъ нельзя было познакомиться ни изъ сочиненій иностранцевъ, ни изъ бѣглыхъ замѣчаній монаховъ, вовсе не имѣвшихъ цѣли описывать внутренній бытъ народа. Вотъ отчего одни писатели начали изображать нашу старую жизнь по чистымъ вымысламъ фантазіи, какъ Вельтманъ, другіе стали копировать ее съ быта нынѣшнихъ простолюдиновъ, какъ Загоскинъ. Разумѣется, въ томъ и другомъ случаѣ она являлась не въ своемъ цвѣтѣ. По этому лучшіе наши историческіе романисты, не смотря на временной успѣхъ въ публикѣ, скоро потеряли значеніе и притомъ въ паденіи своемъ увлекли и самый родъ историческаго романа. Находя въ сочиненіяхъ Загоскина и Лажечникова то омузиченіе нашей старой жизни, то уборку ея въ несвойственныя ей краски, публика начала подозрѣвать ложную сторону предлагаемыхъ ей картинъ, а наконецъ стала смотрѣть холодно и на самый историческій романъ. Этой холодности помогла еще больше толпа безталанныхъ послѣдователей Вальтеръ-Скотта; историческіе романы начали составляться у насъ по общей, весьма незатѣливой выкройкѣ: обыкновенно брали изъ Исторіи Карамзина какую-нибудь эпоху позаманчивѣе, привязывали къ ней вымышленныя лица, да вводили въ придуманное событіе какое-нибудь лицо историческое—и планъ руссійскаго романа былъ готовъ; оставалось убрать его описаніями охобней да кокошниковъ, кубковъ да братинъ и пересыпать взятыми изъ лѣтописей старинными словами. Это опошшло наконецъ романъ до такой степени, что явилось сомнѣніе въ дѣйствительности самаго рода искусства, и Сенковскій рѣшился высказать дикую мысль, что историческій романъ есть фальшивый вырождѣніе искусства, незаконное дитя науки и фантазіи, уродливое порожденіе воображенія, больного педантизмомъ. И несмотря

на то, что у насъ былъ переведенъ почти весь Вальтеръ-Скоттъ, что многіе не забыли еще перваго обаятельнаго впечатлѣнія его прекрасныхъ созданій, — капризное слово моднаго критика нашло сочувствіе или по-крайней-мѣрѣ не встрѣтило противодѣйствія. И вотъ въ продолженіе многихъ лѣтъ на историческомъ романѣ лежало клеймо отверженія, и хотя у насъ есть два первоклассныя произведенія въ этомъ родѣ — «Капитанская Дочка» и «Тарасъ Бульба», но иные и до-сихъ-поръ убѣждены, что историческій романъ изъ старой жизни въ Россіи невозможенъ.

Почти тоже было у насъ и съ исторической драмой, съ тою разницею, что въ этомъ родѣ искусства, который требуетъ болѣе наглядной правды въ самомъ дѣйстви, недостатокъ историческихъ матеріаловъ и ложный историческій взглядъ должны были обнаружиться еще яснѣе. Тутъ, при недостаточной обработкѣ нашей старины, даже величайшій поэтический инстинктъ не спасалъ писателя: такъ Пушкинъ въ «Борисѣ Годуновѣ», при всемъ художественномъ тактѣ, при всемъ удивительномъ проникновеніи смысломъ эпохи и духомъ нашей старой жизни, не спасся отъ мелодраматизма, и карамзинскій взглядъ повредилъ важнѣйшему характеру въ его драмѣ. Впослѣдствіи толпа посредственностей, у которыхъ отсутствіе художческаго таланта замѣнялось кваснымъ патріотизмомъ, употребила этотъ родъ совсѣмъ не для литературныхъ цѣлей и создала новый родъ драмы панегирической. Эти-то мнимо-патріотическія измышленія Полеваго и Кукольника — «Руки Всевышняго» и «Дѣдушки Флота» опошлили и добили нашу историческую драму. Если ее не называли открыто ложнымъ родомъ искусства, то многіе однакожь думали, что драма эта покончила у насъ свое существованіе навсегда или по-крайней-мѣрѣ надолго. Вотъ къ какимъ жалкимъ и несправедливымъ заклю-



ченіямъ пришла наша критика и публика: оттого-что историческій романъ и драма явились у насъ во время, неблагоприятное такому роду искусства, мы отвергли и самый родъ этотъ, какъ-будто существованіе какого-нибудь вида литературы зависитъ единственно отъ нашей воли и прихоти.

Здѣсь намъ могутъ предложить вопросъ: возможны-ли въ наше время историческій романъ и историческая драма? Но вопросъ этотъ очевидно совпадаетъ съ другимъ: подвинулась-ли впередъ наша исторія, разработаны-ли теперь достаточно матеріалы нашей старины, уяснилось-ли пониманіе нашей старой жизни? На этотъ послѣдній вопросъ теперь можно, кажется, отвѣчать утвердительно. Со времени Карамзина историческій взглядъ нашъ уяснился значительно: этому помогли отчасти историческіе труды Соловьева и Устрялова, а еще больше открытіе и обнаруженіе многихъ историческихъ памятниковъ, каковы Азгы Археографической Коммисіи, Домострой, Записки Кошкина и другія пріобрѣтенія послѣдняго времени. Теперь собраніе матеріаловъ представляетъ достаточное количество источниковъ для уразумѣнія нашей прошлой жизни. Множество историческихъ записокъ, какъ-напримѣръ Княгини Дашковой, Державина, Императрицы Екатерины II, еще больше пополнило этотъ матеріалъ; а труды Бѣльева, Забѣлина, Щербальскаго и другихъ способствовали его обработкѣ. Благодаря этому, домашняя жизнь стараго времени теперь для насъ уже не темная вода, въ которой мы плавали ощупью во времена Полеваго и Загоскина. Въ наше время едвали кто рѣшится высказать сомнѣніе, будто историческая драма у насъ невозможна потому, что въ старой Руси мы совсѣмъ не видимъ женщины. Все это убѣждаетъ насъ, что теперь возможно, конечно при значительномъ

трудолюбіи, основательное знакомство съ нашей стариною, а слѣдовательно возможны — историческій романъ и историческая драма.

Но тутъ опять представляются вопросы: если этотъ родъ искусства возможенъ въ наше время, то отчего-же является такъ мало сочиненій въ этомъ родѣ и сама публика смотритъ на него холодно и кажется не чувствуетъ въ немъ потребности? отчего въ теченіе многихъ лѣтъ у насъ не являлось историческаго романа, и въ литературѣ послѣдняго времени мы можемъ указать развѣ на двѣ, на три историческія драмы? Стало-быть намъ нужны романы изъ современной жизни, а не драмы изъ стараго быта, стало-быть насъ занимаетъ только картина настоящаго, портреты практическихъ Штольцевъ да идеальныхъ болгаръ, привлекаетъ не «вчера», а «наканунѣ», и мы знать не хотимъ, что дѣлалось прежде. По-видимому это справедливо и однакожь не совѣтъ вѣрно. Отсутствіе историческаго романа и драмы зависѣло не оттого только, чтобъ мы были увлечены исключительно настоящимъ и совершенно пренебрегали прошедшимъ, но вмѣстѣ и оттого, что этотъ родъ изящнаго требуетъ въ писателѣ соединенія таланта съ ученой подготовкой, съ разнообразными историческими и археологическими свѣдѣніями. Кто-же изъ насъ приготовленъ къ подобному труду, кто послѣ долгаго презрѣнія къ историческому роду литературы, не упустилъ изъ вида такой работы? Мы полагаемъ, что еслибы у насъ были такіе писатели, то они испытали-бы себя въ этомъ родѣ, откликнулись-бы на запросъ объ исторической драмѣ, сдѣланный Пушкинымъ. Между-тѣмъ мы можемъ указать въ видѣ исключенія развѣ на одного Мея. Занимая видное мѣсто въ ряду нашихъ поэтовъ, онъ отличается тѣмъ, что соединяетъ неоспоримый талантъ съ серьезнымъ образованіемъ и знаніемъ народа,

не только въ его настоящемъ, но и въ прошедшемъ; а этимъ немногіе могутъ у насъ теперь похвалиться. Обратимся къ его «Псковитянкѣ», появленіе которой составляетъ любопытный фактъ въ литературѣ, какъ по достоинствамъ самаго сочиненія, такъ и по странному равнодушію, съ какимъ обошла его наша критика.

Драма Моя раздѣлена на пять актовъ: въ первомъ дѣйствіе происходитъ въ 1555, а въ остальныхъ въ 1570 году, въ то время, когда царь Іоаннъ Грозный, послѣ погрома Новгорода, обратился на Псковъ. Тутъ съ перваго взгляда уже видно, что первый актъ составляетъ особую картину, нужную развѣ для объясненія главнаго дѣйствія. Въ ней авторъ вводитъ насъ въ свѣтлицу псковскаго боярина Шелого, котораго царь послѣ ливонскаго похода оставилъ на сторожѣ въ Колывани. Мы узнаемъ, что у жены боярина есть маленькая дочь, рожденная не отъ мужа. Изъ задушевной бесѣды боярыни Вѣры съ сестрой ея Надеждой открывается, что когда царь вернулся изъ похода ко Пскову, то боярыня ходила по обѣту въ Печерскій-монастырь, но заблудилась въ лѣсу, попала въ царскую ставку, провела въ ней ночь—и слѣдствіемъ этого было рожденіе Ольги. Вѣра трепещетъ при мысли о томъ, что будетъ съ младенцемъ, когда воротится ея мужъ. Въ то время, какъ она выплакиваетъ сестрѣ свою исповѣдь и страданія, слышатся трубы: это является бояринъ Шелога съ княземъ Токмаковымъ, женихомъ Надежды. Онъ видитъ ребенка и спрашиваетъ грозно: «жена, а чей пашенокъ этотъ?» тогда Надежда падаетъ передъ нимъ на колѣна и говоритъ: «мой!» Вотъ содержаніе перваго акта. Въ немъ мы видимъ совершенно отдѣльную картину, написанную искусно, но почти не имѣющую связи съ драмою, которая отдѣлена отъ нея на разстояніе пятнадцати лѣтъ, и гдѣ являются уже новыя лица.

Самая драма въ четырехъ остальныхъ актахъ представляетъ картину Пскова, при нашествіи на него царя Іоанна, послѣ новгородскаго погрома, въ 1570 году. Въ строгомъ смыслѣ здѣсь почти нѣтъ настоящей драмы, потому-что нѣтъ ни сильной завязки, ни рельефно-очерченныхъ характеровъ. Въ первой картинѣ мы въ саду князя Токмакова, гдѣ Ольга, которую всѣ считаютъ его дочерью, играетъ съ своими подругами. Среди этихъ дѣвичьихъ игръ мы узнаемъ, что она любитъ посадничьяго сына Михаила Тучу, который, не надѣясь высватать за себя дочь Токмакова, собирается съ псковской вольницей подъ Сибирскій-камень добыть тамъ мѣховъ и серебра. Сцена оканчивается набатомъ, призывающимъ на вѣче.

Въ слѣдующемъ актѣ передъ нами открывается картина псковскаго народнаго вѣча. Это вѣче, можно сказать, играетъ роль настоящаго героя драмы, на которомъ гораздо больше сосредоточивается участіе читателя, чѣмъ на главныхъ дѣйствующихъ лицахъ. Весь этотъ актъ полонъ драматическаго движенія и жизни: это настоящее русское вѣче, представленное съ полнымъ знаніемъ исторіи и нашего стараго быта, съ его удалствомъ, неурядицей, здравымъ смысломъ и отвагою. Здѣсь мастерски переданы всѣ колебанія народнаго сборища, буйный и благородный духъ молодой вольницы, привыкшей къ свободѣ и удалству, осторожныя дѣйствія городскихъ аристократовъ и рѣчи посѣдѣлаго посадника. Разсказъ гонца Велебина о разореніи Новгорода своимъ эпическимъ характеромъ нисколько не нарушаетъ драматизма этой картины; съ первыхъ словъ онъ какъ-бы гармонируетъ съ вѣчевымъ колоколомъ:

Поклонъ и слово Новгорода: «Братья  
Молодая, всѣ мужи псковичи!  
Вамъ кланялся-де Новгородъ Великій,

Чтобъ помогли вы супротивъ Москвы,  
 И вы-де брату вашему старшему  
 Не дали помочь ниже никакую,  
 И цалованье крестное забыли:  
 Ино на то вся ваша власть и воля,  
 И помоги вамъ Тронца святая!  
 А братъ-де вашъ старшой отерасовался  
 И наказалъ вамъ долго жить да править  
 По немъ поминки ...»

Всѣ волненія вѣча, при страшномъ разсказѣ гонца о новгородскихъ убійствахъ, переданы авторомъ съ большимъ искусствомъ. Предложеніе намѣстника встрѣтить царя съ хлѣбомъ и солью, ради спасенія Пскова, мрачныя рѣчи стараго посадника Михаила Иларіоновича, предвѣщающаго, что изъ Пскова будетъ скоро хорошій московскій пригородъ, наконецъ выходъ изъ города вольницы, отправляющейся съ посадничьими сыновьями подъ Камень, чтобъ только не подчиниться царскимъ опричникамъ—все проникнуто самой живою дѣйствительностью. Мы не можемъ удержаться, чтобъ не выписать послѣдней сцены этого акта. Вотъ она:

МИХАЙЛО ТУЧА.

Князь Юрій

Ивановичъ! съ тобою псковичи —  
 Охочій людъ — прощаются....

КНЯЗЬ ТОКМАКОВЪ.

Куда?

МИХАЙЛО ТУЧА.

Господь сведетъ... Не поминай насъ лихою!...  
 Великій Псковъ оставилъ Государю;  
 Святню храмовъ, вѣче вѣковое,  
 Дома и землю, семьи и могилы....  
 А волю сложить къ царскому подножью —  
 Гдѣ Богъ укажетъ — съ буйной головою....

КНЯЗЬ ТОКМАКОВЪ.

Постойте! образумьтесь!

Куда вы рветесь и кому грозите?  
 Безумцы!... Что вы кличете на Псковъ

Правдивый гнѣвъ законнаго владыки?...  
Иванъ Васильичъ Грозный вѣдь не шутить...

ЧЕТВЕРТА.

А пусть не шутить; шутка не обида,  
А отъ нешутки отпоемся пѣсней...  
Ну, Колтырь Раковъ, гдѣ ты?

КОЛТЫРЬ РАКОВЪ *(съ балабайкой).*  
Здѣсь.... Агу!...

ЧЕТВЕРТА.

Прощальную!

МИХАЙЛО ТУЧА.  
Со Псковомъ-осударемъ...

ГОЛОСА.  
Прощальную.... Со Псковомъ-осударемъ!..

КОЛТЫРЬ РАКОВЪ *(ударяетъ по балабайкѣ).*  
Осудари-псковичи!  
Собирайтесь на дворы;  
Зззубрились мечи,  
Притупились топоры...  
То-то лели, то-то лели, то-то лешиньки мои!

НѢСКОЛЬКО ГОЛОСОВЪ *(подхватываетъ).*  
То-то лели, то-то лели, то-то лешиньки мои!  
*(Точка уходитъ въ Смердын-ворота. Туча впереди).*

ГОЛОСЪ КОЛТЫРЯ РАКОВА *(вдали).*  
Али не зачѣмъ точить  
Ни мечей, ни топоровъ?  
Али вездѣ намъ сложить  
И головушекъ за Псковъ?  
То-то лели, то-то лели, то-то лешеньки мои!

ГОЛОСА ВДАЛИ.  
То-то лели, то-то лели, то-то лешеньки мои!

Тутъ столько жизни и правды, что мы ставимъ эту сцену на ряду съ лучшими мѣстами «Бориса Годунова» Пушкина. Вообще третій актъ—лучшее мѣсто во всей драмѣ Мея. Съ перваго взгляда здѣсь можетъ поразить множе-

ство лицъ и дикій безпорядокъ дѣйствія, но вчитываясь, вы находите, что въ этомъ-то и состоитъ прелесть, которою проникнута вся эта живая сцена. Это уже не прилизанные казаки «Ермака» Хомякова, не приторная патріотическая драпировка «Ляпунова»; это настоящая русская народная сходба, которую по живости и простотѣ можно сравнить только съ римскими сценами въ шекспировомъ Юліѣ Цезарѣ.

Въ слѣдующемъ актѣ авторъ вывелъ Іоанна Грознаго и съ перваго явленія поставилъ его вѣрно и поэтически. Царь является въ домѣ князя Токмакова, и Ольга, по тогдашнему обычаю, какъ хозяйка встрѣчаетъ его съ чаркой меду. При появленіи дѣвушки, Іоаннъ узнаетъ въ ней знакомыя, милыя черты матери ея Вѣры. Сердце его, полное непріязни къ Пскову, смягчается при видѣ дочери: онъ призываетъ Малюту и говорятъ:

Да престануть  
Убійства!... Много крови... Притупите  
Мечи о камень: Псковъ хранить Господь!...

Въ пятомъ актѣ характеръ Грознаго обрисовывается еще полнѣе, но едва-ли въ пользу истины. Здѣсь мы должны сдѣлать одно замѣчаніе. Извѣстно, что взглядъ Карамзина повредилъ Пушкину въ созданіи его Годунова; намъ кажется, что и Мей также ничего не выигралъ, придерживаясь въ характерѣ Грознаго воззрѣнія Соловьева. Мы не отрицаемъ, что во взглядѣ нашего историка на Іоанна IV есть доля правды, но не раздѣляемъ вполне его идей. Конечно, Іоаннъ имѣетъ большое сродство съ Петромъ, по общему имъ обоемъ революціонному стремленію и по сходству самыхъ дѣяній. Если противодѣйствіе, встрѣченное Петромъ, привело его къ жестовости, съ какою онъ

ломалъ все, что ложилося поперекъ его дороги, не останавливаясь ни предъ насильственнымъ постриженіемъ жены, ни передъ кровавой дыбою сына; то понятно, какъ противоѣдѣйствіе, еще болѣе упорное, должно было ожесточить человѣка, съ такими-же революціонными идеями, но поставленнаго судьбою въ самый ужасный вѣкъ грубости и деспотизма. Грозный былъ тотъ-же Петръ, родившійся только за полтора столѣтія раньше возможности реформы. Въ наше время обнародованіе записокъ Курбскаго и дѣла царевича Алексѣя достаточно разъяснило характеръ этихъ суровыхъ царей. Но кажется, наши историки не достаточно еще раскрыли, въ какомъ положеніи Іоаннъ и Петръ, преслѣдовавшіе упорную оппозицію въ лицѣ боярства, стояли въ отношеніи къ народной массѣ. У насъ обыкновенно, представляя ихъ гонителями враждебнаго реформбартства, въ то-же время изображаютъ ихъ защитниками массы народной. Мы не раздѣляемъ этого мнѣнія: намъ кажется, его довольно трудно согласить съ тѣми фактами, какъ одинъ истреблялъ цѣлыя посады и села, изъ опасенія, чтобы вѣсть о его походѣ не дошла въ Новгородъ, а другой посылалъ десятки-тысячъ людей на гибель въ невискія болота и спокойно прикрѣплялъ къ землѣ свободныхъ крестьянъ. Вотъ почему и нѣкоторыя черты характера Іоанна въ драмѣ Мей кажутся намъ только уступкою мнѣніямъ Соловьева, повредившею истинѣ въ характерѣ царя. Таковъ, напримѣръ, слѣдующій монологъ, съ которымъ царь обращается къ сыну и Борису:

Ребята вы!... Туда-жъ хитрятъ со мною:  
Хотятъ задобрить, чтобъ не клалъ опалы...  
Да на кого?... На людѣ-то православный—  
Краугольный камень нашей власти  
И наше всевозлюбленное чадо!  
Въ умѣ-ли вы?.. Къ тому-ли рѣчь я велю?



Нѣтъ, Ваня, вотъ тебѣ завѣтъ отцовскій:  
 Поволить Богъ меня къ себѣ воззвати  
 И будешь ты царемъ всея Руси:  
 Храни тебя Заступница—обидѣтъ  
 Единого отъ малыхъ сихъ ..

Слова эти мудро и принять за коварное притворство, а потому они, по нашему мнѣнію, не согласны съ характеромъ Грознаго.

Пятый актъ драмы Мея въ художественномъ отношеніи—слабѣ другихъ. Бесѣда Іоанна съ Годуновымъ и сыномъ о замыслахъ бояръ во время его болѣзни, объ Адашевѣ и Сильвестрѣ, хотя выражена сильно, но останавливаетъ ходъ дѣйствія и потому кажется лишнею. Появленіе Ольги, увезенной Малютою и отбитой княземъ Вяземскимъ, на пути въ Печерскій-монастырь, откуда она попала въ царскую ставку—еще можетъ быть оправдано; но нападеніе Михайла Тучи съ толпою псковской вольницы на царскій станъ и битва передъ самымъ царскимъ шатромъ—кажутся намъ значительной натяжкой, не оправдываемой ни исторіей, ни искусствомъ. Конечно, въ лѣтописяхъ того времени не трудно найти примѣры удачества, доходившаго почти до безумія; но автору не удалось оправдать этого художественно, не удалось представить нападеніе вольницы съ тою степенью правды, при которой и исключительный случай кажется въ искусствѣ правдоподобнѣе всякаго дѣйствительнаго событія. Наконецъ смерть Ольги, которая мелодраматически закалывается въ глазахъ отца, въ ту минуту, когда Малюта извѣщаетъ его о смерти Тучи, составляетъ придуманный эффектъ, который вредитъ окончательно впечатлѣнію драмы. Намъ скажутъ опять, что дѣвушка легко могла зарѣзаться ножомъ, при вѣсти о гибели любимаго жениха, и что у Шекспира мы найдемъ десятковъ самоубійствъ еще эффектнѣе. Мы противъ этого

и не споримъ, но дѣло въ томъ, что самоубійство нисколько не оправдывается характеромъ Ольги, нисколько не выводится изъ его внутренняго развитія. Это не естественное разрѣшеніе характера, какъ у Шекспира, а просто пружина, придѣланная снаружи для заключенія пьесы.

Такимъ-образомъ, рассматривая въ связи всю драму Мея, мы видимъ въ ней произведеніе весьма-замѣчательное, которое, не смотря на свои недостатки, отличается значительными достоинствами. Если въ постройкѣ драмы и въ ея интригѣ нѣтъ силы, если характеры главныхъ лицъ, Ольги и Михайлы Тучи, блѣдны, и лицу царя Іоанна повредилъ невѣрный историческій взглядъ, если любовь автора къ эффектнымъ сценамъ, понятная конечно въ драматургѣ, увлекаетъ его иногда за предѣлы, допускаемые искусствомъ; то съ другой стороны вездѣ, гдѣ дѣло касается обрисовки стараго быта и народныхъ обычаевъ, Мей становится истиннымъ художникомъ, а въ картинахъ народной жизни, особенно псковскаго вѣча, представляетъ сцены, которыя можно поставить на ряду съ лучшими произведеніями нашей поэзіи въ этомъ родѣ. Здѣсь истинное торжество Мея.

Что касается внѣшней формы автора, то какъ ни странно говорить въ наше время объ языкѣ, мы должны однакожь замѣтить, что въ этомъ отношеніи Мей стоитъ едвали не выше всѣхъ современныхъ нашихъ писателей: его рѣчь, задушевная и блестящая, всегда прекрасна; но тамъ, гдѣ дѣло идетъ о сюжетѣ чисто-народномъ, она играетъ у него всѣми красками русской самобытности и прелести. Это конечно не новость для всѣхъ, кто сколько-нибудь знаетъ Мея, но дѣло въ томъ, что въ «Псковитянкѣ» языкъ его подвинулся еще дальше, выработался до той степени со-

вершенства, которая придаетъ драмѣ особое обаяніе, даже и въ сценахъ не увлекающихъ по содержанію.

Мы убѣждены, что когда вполнѣ пройдетъ наша холодность къ историческому роману и драмѣ, а это несомнѣнно случится рано или поздно, то «Псковитянка» Мейя будетъ поставлена высоко въ нашей литературѣ.

---

## В О П Р О С Ъ

### О МАЛОРОССІЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

---

Извѣстно, что въ томъ краѣ, который называется обыкновенно Малороссіей и населенъ большею частію южно-рускимъ племенемъ, до настоящаго столѣтія не было почти никакой письменной литературы на мѣстномъ нарѣчій. Не смотря на значительныя отличія этого нарѣчія отъ общерусскаго языка, на долгую историческую жизнь страны, ознаменованную многими самобытными явленіями, не смотря на даровитость племени, изъ котораго въ продолженіе столѣтій вышло много людей талантливыхъ въ разныхъ сферахъ дѣятельности,—умственная жизнь страны выразилась на мѣстномъ нарѣчій только въ однихъ устныхъ памятникахъ народной поэзіи. На этомъ нарѣчій хранились въ народной памяти только историческія и бытовыя пѣсни, сказки и легенды, пословицы и поговорки. Но въ продолженіе исторической жизни этого края, все что только выходило изъ уровня безразличной народной массы, все что проникалось сколько-нибудь образованіемъ,—выдѣлялось

обыкновенно изъ племеннаго круга и отрывалось отъ племеннаго нарѣчія, обращаясь по силѣ историческаго тяготѣнія въ разныя эпохи къ языкамъ самостоятельнымъ—церковнославянскому, польскому, русскому. До конца прошлаго вѣка никому въ Малороссіи не приходило въ голову, что мѣстное нарѣчіе можетъ сдѣлаться когда-нибудь языкомъ литературнымъ или ученымъ. Какъ скоро кто-нибудь изъ образованныхъ людей принимался за перо для выраженія мыслей, сколько-нибудь выходящихъ изъ круга обыденной жизни, онъ обращался къ одному изъ готовыхъ уже литературныхъ языковъ, и если вносилъ въ свою рѣчь простонародныя мѣстныя слова или обороты, то не съ намѣреніемъ способствовать обработкѣ мѣстнаго говора, а только отъ недостаточнаго знакомства съ тѣмъ языкомъ, къ которому принужденъ былъ обратиться въ своемъ сочиненіи. Еслибы всѣ южно-русскіе писатели были на столько знакомы съ польскимъ, русскимъ или церковнославянскимъ языкомъ, чтобы писать на нихъ правильно и чисто, то имъ и на мысль не пришло-бы вносить умышленно въ свою письменную рѣчь какое-нибудь слово или оборотъ изъ своего мѣстнаго нарѣчія. Самые характерные и наиболѣе народные писатели и мыслители изъ малороссіянъ, восхищаясь народными пѣснями кобзарей на мѣстномъ нарѣчіи, сами на немъ не писали, потому-что считали его провинціальнымъ говоромъ, а не литературнымъ языкомъ.

Но въ началѣ нынѣшняго столѣтія это положеніе въ Малороссіи начинаетъ измѣняться. Въ то время, какъ словесная литература, выражавшаяся до-тѣхъ-поръ въ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ, остановилась въ своемъ развитіи, нѣкоторые образованные малороссы принялись собирать эти сказки, пѣсни и думы, записывать ихъ со словъ простолюдиновъ,—и сборники этой народной поэзіи начали

пополняться съ каждымъ годомъ. Эти труды украинскихъ собирателей показали, что на южномъ русскомъ нарѣчїи существуетъ масса поэтическихъ памятниковъ, которая не уступаетъ нашей сѣверной народной поэзіи на чистомъ русскомъ языкѣ. Какъ народныя пѣсни и баллады на шотландскомъ и уэльскомъ нарѣчїи, собранныя въ концѣ прошлаго вѣка, обратили на себя вниманіе Англіи, такъ и изданіе этихъ народныхъ памятниковъ малороссійской поэзіи вызвало искреннюю симпатію въ русскомъ обществѣ. Но малороссы на этомъ не остановились. Въ Англіи шотландскія пѣсни послужили только источникомъ вдохновенія для Борнсовъ и Вальтеръ-Скоттовъ, но не оторвали ихъ отъ общей англійской литературы и выработаннаго вѣками языка; у насъ-же въ Малороссіи нашлись люди, которые, обращаясь къ живому источнику племенной народной поэзіи, начали вмѣстѣ-съ-тѣмъ мечтать о литературной самобытности своего нарѣчїя. Не довольствуясь возможностью внести новую струю народной поэзіи въ общую сокровищницу русской литературы, чѣмъ впрочемъ ограничились даровитѣйшіе изъ нихъ, многіе крайніе патріоты стали мечтать о самостоятельной южно-русской литературѣ. Въ альманахахъ и сборникахъ, вмѣстѣ со вновь отысканными народными пѣснями и статьями на русскомъ языкѣ по вопросамъ южнаго края, начали появляться лирическія стихотворенія и прозаическіе рассказы на малороссійскомъ нарѣчїи. Мало-по-малу число писателей въ разныхъ родахъ на этомъ мѣстномъ говорѣ стало увеличиваться—явились драматическія сочиненія Котляревскаго, повѣсти и рассказы Основьяненко, съ замѣтными признаками дарованія. Наконецъ въ недавнее время появился поэтъ, который при знаніи русскаго языка остался вѣренъ своему нарѣчїю и писалъ на немъ съ такимъ успѣхомъ, что мно-

гіе земляки увидѣли въ немъ первокласнаго генія. Тутъ заговорили уже, что малороссы не племя, а особый народъ, говоръ ихъ не нарѣчіе русскаго языка, а самостоятельный языкъ, съ полною исторіей въ прошломъ и задатками литературнаго развитія въ будущемъ, и что въ Малороссіи должна быть своя особая умственная жизнь. Начали толковать о составленіи малороссійскихъ граматикъ и словарей, объ изданіи на мѣстномъ нарѣчіи учебниковъ и ученыхъ сочиненій, принялись составлять для него особое правописаніе, съ намѣреніемъ какъ можно больше удалить его отъ общерусскаго языка. Наконецъ самые крайніе українофилы затѣяли мѣстный переводъ Евангелія и начали изданіе литературнаго журнала, въ половину на русскомъ, въ половину на малороссійскомъ нарѣчіи, который долженъ былъ положить «основу» той мысли, что малороссійскій народъ имѣетъ свой особый языкъ и самостоятельную литературу.

Спрашивается: что значить это литературное движеніе въ одной изъ нашихъ коренныхъ областей? Неужели среди русскаго народа есть дѣйствительно какой-то особый народъ, съ своимъ языкомъ и литературой, которыхъ мы не знали въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ? Что за смыслъ въ этомъ движеніи и какихъ слѣдуетъ ожидать отъ него результатовъ? Новая-ли это сила, заявляющая свою самостоятельность, или только увлеченіе ложнаго патріотизма? Неужели у насъ должно возникнуть явленіе безпримѣрное въ исторіи? Въ то время, какъ во всей Европѣ, при соединеніи племенъ въ націю, провинціальныя нарѣчія сливались въ одинъ народный языкъ, въ одинъ общій органъ ученой и литературной дѣятельности, неужели въ одной Россіи могутъ, при государственномъ единствѣ, существовать два отдѣльные языка и двѣ особыя литературы? Возможна-

ли самобытная малороссійская литература въ то время, когда оба племени связаны уже историческимъ ходомъ событий въ одну неразрывную націю? Вотъ мысли, которыя не могли не обратить вниманіе всякаго, кто слѣдилъ у насъ за умственнымъ движеніемъ послѣднихъ лѣтъ. Постараемся опредѣлить это.

Вопросъ о томъ, есть-ли дѣйствительно на свѣтѣ малороссійскій языкъ и малороссійская литература, давно уже затрогивался многими писателями, какъ великорусскими, такъ и самими малороссами. Еще въ 1841 году Бѣлинскій, говоря о быломъ значеніи южнорусскаго нарѣчія, спрашивалъ: должны ли наши литераторы изъ малороссіянъ писать по малороссійски? Признавая существованіе южнорусскаго языка въ памятникахъ народной поэзіи, онъ въ то-же время замѣтилъ, что при всемъ ихъ богатствѣ не слѣдуетъ, чтобы у малороссіянъ и теперь могла быть литература. «Малороссія, писалъ онъ, начала выходить изъ своего непосредственнаго состоянія вмѣстѣ съ Великороссією со временъ Петра Великаго. До-тѣхъ-поръ языкъ былъ общій, потому-что идеи послѣдняго казака были въ уровень съ идеями пышнаго гетмана. Но съ Петра началось раздѣленіе сословій. Дворянство, по ходу исторической необходимости, приняло русскій языкъ и русско-европейскіе обычаи въ образѣ жизни. Языкъ самого народа началъ портиться, и теперь малороссійскій языкъ находится преимущественно въ однѣхъ книгахъ. Слѣдовательно, мы имѣемъ полное право сказать, что теперь уже нѣтъ малороссійскаго языка, а есть областное малороссійское нарѣчіе, какъ есть бѣлорусское, сибирское и другія, подобныя имъ областныя нарѣчія». Такъ-же отрицательно относился Бѣлинскій и къ малороссійской литературѣ. «Поэзія, продолжаетъ онъ, есть идеализированіе дѣйствительной жизни:



чью-же жизнь будутъ идеализировать наши малороссійскіе поэты? Высшаго общества Малороссіи? Но жизнь этого общества переросла малороссійскій языкъ, оставшійся въ устахъ одного простаго народа, и это общество выражаетъ свои чувства и понятія не на малороссійскомъ, а на русскомъ и даже французскомъ языкахъ. И какая разница въ этомъ случаѣ между малороссійскимъ нарѣчіемъ и русскимъ языкомъ! Русскій романистъ можетъ вывести въ своемъ романѣ людей всѣхъ сословій и каждого заставить говорить своимъ языкомъ: образованнаго челоуѣка языкомъ образованныхъ людей, купца по-купечески, солдата по-солдатски, мужика по-мужицки. А малороссійское нарѣчіе одно для всѣхъ сословій—крестьянское. Поэтому наши малороссійскіе литераторы и поэты пишутъ повѣсти всегда изъ простаго быта». Подобныя мнѣнія можно встрѣтить и у писателей малороссійскихъ. Закревскій, издатель «Старосвѣтскаго Бандуриста», говоритъ также противъ самостоятельности малороссійскаго языка. «Приличнѣе и правильнѣе—пишетъ онъ, было-бы назвать малороссійскій языкъ нарѣчіемъ русскимъ, такъ-какъ оба языка суть вѣтви одного великаго славянорусскаго племени, связаннаго священными узами, а именно одинаковостью религіи и языка, въ которомъ вслѣдствіе политическихъ обстоятельствъ явились съ теченіемъ времени иные обороты и даже чуждыя выраженія для языка русскаго. Несмотря однако на это различіе, языкъ обѣихъ отраслей остался въ сущности одинаковымъ, потому-что какъ великорусъ, такъ и украинецъ безъ труда другъ-друга понимаютъ». Но эти мнѣнія не нравятся проповѣдникамъ украинской самобытности.

Мѣстные патриоты увѣряютъ, что малороссійскій языкъ есть такой-же отдѣльный, самостоятельный славянскій языкъ, какъ болгарскій, чешскій, польскій—и слѣдовательно на-

зывать его нарѣчіемъ русскаго языка несправедливо. Отвергая мнѣніе Бѣлинскаго, они опираются на авторитетъ Миклошича, который въ своемъ *Vergleichende Grammatik der Slawischen Sprachen* ставитъ малороссійскій языкъ не въ категорію провинціальныхъ нарѣчій, а на ряду съ самостоятельными языками славянскихъ народовъ. Одни изъ украинскихъ патріотовъ, признавая, что южнорусскій языкъ не отличался значительно отъ сѣвернорусскаго до той эпохи, когда восточная Россія поработчена была моголами, а западная подчинилась Литвѣ и Польшѣ, въ то-же время утверждаютъ, что съ XV вѣка оба нарѣчія, вслѣдствіе различія историческихъ судебъ, сложились въ отдѣльные, самостоятельные языки, съ своей особой организаціей. Другіе, болѣе рьяные украинофилы идутъ дальше: они не только не допускаютъ возможности принять малороссійскій народный говоръ за нарѣчіе русскаго языка, не только не признаютъ единства ихъ въ XIII столѣтіи, но увѣряютъ, что между ними была коренная разница не при Владимірѣ, не при основаніи даже русскаго государства, а еще въ ту эпоху, когда совершилось распаденіе общеславянскаго языка на отдѣльные народные языки. Послѣдователи этихъ мнѣній, приводя въ подтвержденіе свое разныя положенія и догадки, прямо уже называютъ украинцевъ особымъ народомъ, нарѣчіе свое самостоятельнымъ языкомъ, собраніе изданныхъ въ послѣднее полстолѣтіе на этомъ нарѣчій сочиненій самобытною малороссійскою литературою и предсказываютъ ей великую будущность. Но такъ-ли это?

Исторію малороссійскаго нарѣчія прослѣдить не трудно, потому-что всѣ сколько-нибудь серьезныя изслѣдованія показываютъ, что оно сложилось на исторической памяти.

Мы не будемъ разбирать предположенія о самостоятельномъ образованіи малороссійскаго нарѣчія до основанія

русскаго государства: эти бредни, вызванныя увлеченіемъ узкаго патріотизма, напомнили самимъ малороссамъ басню объ услужливомъ медвѣдѣ Крылова. Онѣ построены на доказательствахъ въ родѣ того, что въ нѣкоторыхъ народныхъ пѣсняхъ на малороссійскомъ нарѣчій, какъ напри- мѣръ въ Трайзілѣ, сохранились слѣды мифологической древности, да у Нестора, при описаніи введенія христіанства, въ обращеніи кіевлянъ къ опрокинутому въ Днѣпрѣ идолу, встрѣчается будто-бы малороссійская фраза: «вы- дыбай, нашъ боже!». Натягивая мысль на дыбу подобныхъ доводовъ, можно будетъ доказать самобытность не только малороссійскаго или бѣлорусскаго языка, а пожалуй костромскаго или попехонскаго! Обратимся къ тому, что дѣй- ствительно можетъ имѣть видъ какого-нибудь вѣроятія. Церковно-славянскій языкъ, сдѣлавшись со времени введенія христіанства письменнымъ словомъ во всѣхъ концахъ рус- ской земли, долго оставался у насъ языкомъ литературнымъ, и хотя съ теченіемъ времени онъ измѣнялся отъ вліянія живой рѣчи; но это измѣненіе было не такъ значительно, чтобы по памятникамъ церковно-славянскоѣ письменности можно было опредѣлить теперь, въ какой степени въ пер- вые вѣка нашей литературы южное нарѣчіе отличалось отъ сѣвернаго. Несмотря на то, и здѣсь многое говоритъ про- тивъ возможности допустить въ то время различіе мало- русскаго нарѣчія отъ общаго русскаго языка. Несторъ жилъ и писалъ свою лѣтопись въ Кіевѣ, средоточіи всего края нашего южнорусскаго племени. Извѣстно, что его сказанія писаны не на томъ чистомъ церковно-славянскомъ языкѣ, который мы находимъ въ Остромировомъ Евангеліи, но въ рѣчи его встрѣчается не мало выраженій народныхъ;—и всѣ эти выраженія, всѣ эти его невольные русизмы—въ характерѣ чисто-русскаго языка, а не нынѣшняго малорос-

сійскаго нарѣчія. Еслибы въ то время въ южной Россіи былъ не только самостоятельный языкъ; но даже замѣтно отдѣлявшееся нарѣчіе, то возможно-ли, чтобы во всей лѣтописи, при неполномъ знакомствѣ Нестора съ языкомъ церковно-славянскимъ, въ сочиненіе его не вошло никакихъ мѣстныхъ словъ и оборотовъ, кромѣ одной, да и то сомнительной, фразы—«выдыбай, боже!» Простой здравый смыслъ показываетъ, что малороссійское нарѣчіе должно было-бы отразиться въ несторовой лѣтописи, еслибы оно только въ то время существовало. А между-тѣмъ мы не находимъ у него ни малѣйшей разницы съ сѣверными памятниками литературы того времени, напримѣръ съ Русской Правдой, и только съ XV вѣка въ языкѣ лѣтописей кіевской и волынской начинаетъ обнаруживаться различіе отъ языка лѣтописей псковской и новгородской. Еще болѣе яснымъ доказательствомъ служить Слово о Полку Игоревѣ. Написанное въ концѣ XII вѣка на русскомъ народномъ языкѣ съ незначительной примѣсью церковно-славянскаго, да и то можетъ-быть подбавленной позднѣйшими переписчиками, оно принадлежитъ тому краю, гдѣ должно было господствовать малороссійское нарѣчіе; а между-тѣмъ въ этомъ сочиненіи мы не находимъ элементовъ особаго южнаго языка, за исключеніемъ немногихъ отдѣльныхъ словъ. И эти незначительныя особенности не только не даютъ права думать, что языкъ этого памятника отличенъ отъ русскаго, какъ напримѣръ языкъ Краледворской Рукописи, но даже не позволяютъ подозрѣвать въ немъ и особаго нарѣчія. Это съ ничтожными уклоненіями тотъ-же языкъ, какой мы видимъ и въ Русской Правдѣ: въ настоящее время онъ гораздо доступнѣе русскому, чѣмъ малороссу. Развѣ такъ долженъ былъ-бы отразиться въ этомъ чисто-народномъ и патріотическомъ произведеніи особый языкъ,

еслибы онъ дѣйствительно былъ въ южной Россіи нетолѣю до начала государства, но даже въ первые вѣка нашей исторіи?

Наконецъ противъ украинофиловъ говоритъ и нашъ древній народный эпосъ. Весь южно-русскій циклъ эпическихъ былинъ, въ которыхъ воспѣвается князь Владиміръ-Красное-Солнышко и его богатыри, перешелъ къ намъ почти цѣликомъ на общерусскомъ языкѣ, за исключеніемъ немногихъ чисто-малороссійскихъ думъ,—и все это по языку нисколько не отличается отъ сѣвернаго цикла пѣсенъ про Василья Буслаевича или Садко Богатаго. Правда, языкъ чисто-новгородскихъ памятниковъ составляетъ у насъ какъ-бы переходное нарѣчіе отъ великорусскаго къ малороссійскому, подобно тому какъ въ Германіи нарѣчіе тюрингенское было чѣмъ-то среднимъ между верхне-нѣмецкимъ и нижне-нѣмецкимъ; но это значеніе новгородской рѣчи опредѣлилось гораздо позднѣе, при отклоненіи южно-русскаго говора отъ сѣвернаго въ татарско-польскій періодъ раздѣленія Россіи. Какъ-же можно допустить, чтобъ героическія сказанія о Владимірѣ, въ которыхъ, вмѣстѣ съ выходцемъ изъ восточной Руси Ильею Муромцемъ, мы находимъ и кіевлянина Добрыню Никитича, и уроженца дальняго юга Дуная Ивановича, выразились на нарѣчій отдаленнаго края, а не на томъ языкѣ, который былъ въ самомъ мѣстѣ событій, еслибы этотъ языкъ существовалъ тогда въ видѣ особаго, рѣзко-отличнаго нарѣчія? Такимъ-образомъ не мелочное корнесловіе, не педантическія натяжки, а положительные факты показываютъ, что до татарскаго періода во всей Россіи былъ одинъ русскій языкъ, съ такими незначительными оттѣнками на югѣ и сѣверѣ, какія и теперь встрѣчаются въ разныхъ мѣстностяхъ русской земли, напримѣръ въ Псковѣ или Смоленскѣ. До того времени ни имя Мало-

россіи, ни ея нынѣшній говоръ не были совсѣмъ извѣстны — была одна русская земля, одинъ русскій языкъ, однѣ и тѣ же пѣсни и сказки.

Но съ конца XIV вѣка, по различію историческихъ судебъ, народный говоръ сѣверной и южной Россіи началъ мало-по-малу раздѣляться. Новгородская область меньше всего пострадала отъ иноплеменнаго порабощенія, а потому и языкъ ея меньше измѣнился, и теперь народная рѣчь этой мѣстности ближе всего подходитъ къ тому общему языку, которымъ говорили во всей Россіи до конца XIV столѣтія. Почти свободный отъ татарскаго гнета, Новгородъ не видалъ въ своихъ предѣлахъ этихъ поработителей, которые больше двухъ вѣковъ тяготѣли надъ остальной Русью, а по отдаленности своей и независимости въ церковномъ управленіи все болѣе ослаблялъ свои связи съ южной областью. По этому-то и въ письменномъ, и въ народномъ языкѣ своихъ пѣсенъ онъ удержалъ тотъ строй, какимъ отличался въ древности языкъ всего русскаго народа, и оттого даже теперь онъ составляетъ нѣкоторымъ образомъ средній элементъ между великорусскимъ и малороссійскимъ нарѣчіемъ. Между-тѣмъ внутренняя и восточная Россія были надолго покорены татарами, а южная и западная подчинились Литвѣ и Польшѣ. Эти событія очевидно не могли пройти безслѣдно ни для восточной, ни для южной Руси. Гдѣ же, спрашивается, должно было чужое вліяніе болѣе отразиться на языкѣ? Внутренняя и восточная Россія долго была въ зависимости отъ моголовъ, но эта зависимость ограничивалась, какъ извѣстно, тѣмъ только, что татары обложили Россію данью, требовали покорности и подарковъ отъ князей, утверждали ихъ на престолахъ и опустошали ихъ удѣлы набѣгами и вторженіями, при неплатежѣ ордынскаго выхода, несогласіяхъ и интригахъ са-

михъ князей. Частію по привычкѣ къ кочевой жизни въ азійскихъ степяхъ, а можетъ-быть и изъ опасенія вызвать болѣе отчаянный отпоръ, они почти не покушались водвориться внутри русской земли, кромѣ попытки въ Твери; а потому зависимость Россіи, при грубости и необразованности поработителей и поселеніи ихъ на дальней окраинѣ, была можно сказать только внѣшняя—и русскій языкъ не могъ значительно измѣниться отъ вліянія языка татарскаго. Конечно, принимая въ продолженіе двухъ съ половиной вѣковъ кое-какіе элементы могольской рѣчи, онъ не могъ сохранить первобытной чистоты, какъ въ Новгородѣ, но и не долженъ былъ въ такой степени отклониться отъ нея, чтобы сдѣлаться особымъ нарѣчіемъ, а тѣмъ менѣе особымъ языкомъ, отличнымъ отъ новгородскаго. Не такова была судьба русскаго языка на югѣ. Находясь съ одной стороны въ постоянныхъ сношеніяхъ по дѣламъ церкви съ Греціей черезъ Болгарію, а съ другой стороны въ близкомъ сосѣдствѣ съ могущественной въ то время Польшей, южная Россія подверглась гораздо большому вліянію посторонней силы. Ей грозило не столько поработеніе матеріальное, сколько нравственное. Не прошло ста лѣтъ послѣ татарскаго погрома, какъ Галиція отошла къ Польшѣ, Кіевъ съ Волынью, а потомъ и Черниговъ съ Сѣверскимъ княжествомъ къ Литвѣ, а въ концѣ XIV вѣка всѣ эти обширныя земли вошли въ составъ Польскаго-королевства. И поляки дѣйствовали въ поработенной странѣ иначе, чѣмъ моголы. Образованная и католическая Польша не могла смотрѣть на присоединенный край съ азійскимъ равнодушіемъ; южныя русскія земли начали наводняться рьяными проповѣдниками папизма, выходцы принялись захватывать земли, строить костелы, распространять пропаганду, и часть русскаго народа подчинилась этому вліянію,

которое и съ возвращеніемъ Малороссіи въ составъ общаго отечества не переставало дѣйствовать, замѣнивъ только орудіе насилія болѣе тонкими средствами обольщенія. Хотя народная масса, за исключеніемъ окатоличеннаго дворянства, устояла отъ этого пятивѣковаго гнета и сохранила свою вѣру и національность, но не могла-же эта долгая зависимость отъ просвѣщенной націи, зараженной духомъ прозелитизма, не оставить глубокихъ слѣдовъ на языкѣ южнаго края. И дѣйствительно, въ то время, когда письменность раздѣлилась въ Малороссіи между языками церковно-славянскимъ и латинскимъ, народный русскій языкъ въ этой странѣ началъ измѣняться, подъ вліяніемъ съ одной стороны польскаго, а съ другой болгарскаго, къ которому народъ тяготѣлъ, отстаивая свою вѣру; и такимъ образомъ, принимая изъ нихъ слова и обороты, южнорусская рѣчь все болѣе и болѣе отклонялась отъ своего первообраза, языка новгородскаго, и становилась особымъ нарѣчіемъ, которое теперь разнится отъ общерусскаго языка и во флексіяхъ, и въ синтаксическомъ строѣ, и въ произношеніи. Все это совершилось на исторической памяти, было естественнымъ послѣдствіемъ событій—и все показываетъ, что малороссійскій говоръ не составлялъ особаго языка до эпохи татарскаго нашествія и теперь не что иное, какъ провинціальное нарѣчіе, сложившееся въ одной части русской земли, какъ уэльзское нарѣчіе въ Англіи или піэмонтское въ Италіи. Вотъ почему Бѣлинскій правъ, говоря, что въ настоящее время малороссійскаго языка нѣтъ, а есть только провинціальное южнорусское нарѣчіе.

До настоящаго столѣтія никто въ Малороссіи и не пытался создать изъ провинціальнаго нарѣчія особый языкъ для литературы и науки. Было время, и очень продолжительное, когда Кіевъ стоялъ въ главѣ русскаго образова-



нія, давалъ направленіе всей умственной и литературной жизни въ нашемъ отечествѣ. Съ присоединеніемъ къ образованной Польшѣ, въ югозападномъ краѣ явились учебныя заведенія, въ то время когда въ великой Россіи не было вовсе училищъ, и потому въ дѣлѣ просвѣщенія онъ значительно опередилъ Московію. Въ XVI столѣтіи, когда въ Москвѣ только-что затрогивали вопросъ о необходимости училищъ для духовенства, въ средѣ котораго было не мало людей безграмотныхъ, въ южномъ краѣ не только были народныя школы, но открылось даже и высшее учебное заведеніе, кіевская Могилянская Коллегія, устроенная по образцу европейскихъ академій. Тамъ преподавали уже ариѣметику, реторику, философію, богословіе, языки славянскій, латинскій и греческій, изучали Аристотеля, Цицерона, Оому Аквитанскаго. И на какомъ-же языкѣ выражалась вся эта учебная и ученая дѣятельность? Науки, согласно схоластическому устройству заведенія, преподавались, какъ и по всей почти Европѣ, на языкѣ латинскомъ; духовныя слова, поученія и поздравительныя рѣчи писались по церковно-славянски, а стихи польско-силлабическаго размѣра составлялись на особомъ книжномъ языкѣ, изъ смѣси церковно-славянскаго съ чисто-русскимъ нарѣчіемъ и отчасти съ малороссійскимъ. Въ Могилянской Академіи сосредоточилась вся умственная жизнь русской земли. И что-же сдѣлалъ Кіевъ въ продолженіе своего полуторавѣковаго нравственнаго преобладанія въ отношеніи къ обработкѣ народнаго южнорусскаго нарѣчія, которое тогда отличалось отъ общерусскаго языка? Внесъ-ли онъ въ это нарѣчіе хоть какія-нибудь начала, способныя образовать изъ него самостоятельный языкъ литературный и ученый? Передалъ-ли онъ съ другой стороны какія-нибудь стихи этого южнорусскаго нарѣчія въ общій русскій

языкъ, въ то время, когда кievское образованіе начало разливаться на всю Россію, когда толпа южнорусскихъ ученыхъ, вызванныхъ Ртищевымъ, основала въ московскомъ Андроньевомъ-монастырѣ что-то въ родѣ Академіи-наукъ. Думалъ-ли онъ сколько-нибудь о научномъ и литературномъ значеніи своего народнаго нарѣчія въ то время, когда съ основаніемъ Славяно-греко-латинской Академіи въ Москвѣ южная Россія выслала цѣлую фалангу даровитыхъ людей, имѣвшихъ огромное вліяніе на ходъ образованія въ Россіи? Нисколько! Всѣ эти малороссійскіе ученые: Епифаній Славинецкій, Симеонъ Полоцкій, Іоанникій Голятовскій, Антоній Радивилловскій, Лазарь Барановичъ, Дмитрій Ростовскій, Θεοφανъ Прокоповичъ—никогда не думали и не дѣлали ни малѣйшей попытки придать малороссійскому нарѣчію значеніе учено-литературнаго языка, а всѣ писали частію по-латыни и по-польски, а больше на особомъ книжномъ языкѣ, въ который, при огромной массѣ великорусскихъ элементовъ, слова и обороты малороссійскіе входили не съ преднамѣренной цѣлью, а только вслѣдствіе не совершенно полнаго знанія московскаго нарѣчія. Отчего-же это? Конечно, частію оттого, что въ то время на Украинѣ, какъ и въ другихъ мѣстахъ, не сознавали важности живаго нарѣчія, которымъ говорилъ народъ, но еще болѣе потому, что сами ученые должны были чувствовать, что малороссійскій говоръ есть только мѣстное нарѣчіе, неспособное по ходу историческихъ обстоятельствъ сдѣлаться языкомъ литературнымъ. И вотъ полтора вѣка преобладанія Кіева въ умственной и литературной дѣятельности ровно ни къ чему не послужило для малороссійскаго нарѣчія, а напротивъ доказало наглядно его мѣстное провинціальное значеніе. И едва только первыя начала образованія утвердились въ Москвѣ и Славяно-греко-латинская

Академія выпустила первыхъ воспитанниковъ, какъ Тредьяковскій, Кантемиръ, Ломоносовъ, воспитанные въ томъ-же схоластическомъ направленіи, какъ и кіевскіе ученые, бросили церковно-славянскую рѣчь и занялись обработкой господствующаго нарѣчія, сближая его съ языкомъ общенароднымъ. Это зависѣло не отъ одного государственнаго преобладанія Москвы, но вмѣстѣ и оттого, что великорусская рѣчь была не провинціальнымъ нарѣчіемъ, какъ малорусская, а языкомъ великой страны, вступившей въ новый періодъ умственной жизни. И вотъ со всѣхъ концовъ русской земли, изъ Малороссіи и Бѣлоруссіи, все истинно талантливое обращается къ возникающей русской литературѣ и выражается на общемъ русскомъ языкѣ. Очевидно, что если малороссійское нарѣчіе не выработалось въ особый литературный языкъ во время умственнаго преобладанія края надъ остальной Россіею, то въ будущемъ это сдѣлалось совершенно немыслимымъ.

Украинцы, говоря о возможности развитія своего нарѣчія, спрашиваютъ: неужели одному русскому языку принадлежить у насъ монополія быть проводникомъ образованности и органомъ науки? Да, безъ сомнѣнія теперь общерусскому языку принадлежить эта монополія во всей русской землѣ. Эту монополию далъ ему не кружокъ патриотовъ, а ходъ самой исторіи, какъ англійскому языку передъ шотландскимъ, какъ итальянско-флорентинскому предъ піэмонтскимъ и неаполитанскимъ. Этимъ малороссы не могутъ оскорбляться. Въ исторіи мы не находимъ малороссійскаго народа и малороссійскаго языка, точно также, какъ не находимъ бѣлорусскаго или сибирскаго народа, а знаемъ одинъ только русскій народъ съ племенными нарѣчіями бѣлорусскимъ и малороссійскимъ. На этихъ провинціальныхъ нарѣчіяхъ есть народныя пѣсни и сказки,

есть нѣсколько поэтическихъ сочиненій, написанныхъ въ послѣднее время, но нѣтъ литературы. И что такое теперь малороссійскій литературный языкъ, на которомъ въ нынѣшнемъ столѣтіи появились сочиненія въ Украинѣ? Въ настоящемъ малороссійскомъ нарѣчій сами украинцы находятъ столько вѣтвей и подраздѣленій, что чуть не въ каждой губерніи представляется теперь особый говоръ. Что-же это, скажите, за языкъ, въ которомъ вы сами путаетесь до такой степени, что постороннему человѣку трудно рѣшить, кого признать компетентнымъ въ дѣлѣ? Мы помнимъ, напримѣръ, какъ одинъ изъ сотрудниковъ «Основы» плакался на то, что каждый изъ украинскихъ литературныхъ дѣателей знаетъ только одно или два нарѣчія, а не весь малороссійскій языкъ въ полномъ его объемѣ. Вѣроятно, многіе не забыли, что Кулишъ обвинялъ Гоголя въ незнаніи Малороссіи и въ неточномъ употребленіи ея народнаго языка. Въ то-же время Шейковский, издатель южнорусскаго словаря, доказывалъ, что самъ Кулишъ не понимаетъ настоящаго народнаго малороссійскаго языка и пишетъ на немъ какъ Тредьяковскій, а Гатцукъ обвинялъ въ незнаніи этого-же языка Шейковского. Подобныя мнѣнія высказывались и противъ Квитки, ихъ не избѣгъ наконецъ и самъ Шевченко. Что-же это за недоступный языкъ и можетъ-ли онъ быть въ настоящее время органомъ литературы и европейской науки? Мы-бы попросили украинскихъ патріотовъ попробовать перевести на этотъ литературный языкъ, не говоримъ уже какихъ-нибудь европейскихъ писателей, но хоть напримѣръ болѣе капитальныя сочиненія Гоголя или историческіе этюды Костомарова. Нужно много ученой и литературной обработки, чтобы на малороссійское нарѣчіе можно было передать многія сочиненія самихъ-же малороссовъ. Теперь посмотримъ,

что такое эта прославляемая украинцами малороссійская литература.

Народная малороссійская поэзія на мѣстномъ нарѣчій начинается съ развитіемъ на Украйнѣ казачества, то-есть не ранѣе XVI столѣтія. При эстетическихъ достоинствахъ, обиліи прекрасныхъ картинъ южнорусской природы и художественномъ воспроизведеніи сторонъ жизни, эта поэзія обнимаетъ и историческую судьбу, и бытовой характеръ страны, въ борьбѣ съ политическими врагами и притѣснителями ея вѣры и народности. Кромѣ лирики, въ украинской поэзіи есть и свой эпосъ, порожденный эпохой казачества. Въ древнѣйшихъ малороссійскихъ думахъ воспѣваются подвиги украинскихъ казаковъ въ походахъ на Турцію, многочисленныя битвы на Дунаѣ и Черномъ-морѣ, удалые подвиги Свирговскаго, Вишневецкаго и другихъ предводителей. Затѣмъ начинается другой циклъ народныхъ думъ, въ которомъ отразилась кровавая борьба казаковъ съ Польшей за народность и вѣру, гдѣ выдвигаются личности Наливайко, Повтора-Кожуха и Хмѣльницкаго. Наконецъ послѣднія позднѣйшія пѣсни выражаютъ эпоху упадка и перерожденія казачества, съ присоединеніемъ Малороссіи къ общему отечеству. Кто сколько-нибудь знакомъ съ этой поэзіей, тотъ не станетъ отрицать ея достоинствъ, но въ то-же время согласится, что это поэзія исключительно казацкая, которая возникла съ казачествомъ и вмѣстѣ съ нимъ умерла. Это былъ степной цвѣтокъ вольной Украйны, который неизбѣжно долженъ былъ завянуть, какъ скоро край вошелъ въ инныя условія политической и общественной жизни, когда кончились запорожскіе наѣзды на Турцію и борьба съ Польшей. Эта казацкая поэзія точно-также относится къ русской литературѣ, какъ народные пѣсни на неустановившихся гер-

манскихъ нарѣчійхъ или бретонскія баллады въ Уэльзѣ относились въ литературамъ англійской и нѣмецкой. Вездѣ, съ успѣхами образованія и сплоченіемъ племенъ, такіа пѣсни прекращались и уступали мѣсто настоящей литературѣ. То-же явленіе было и въ сѣверной Россіи. Стало быть народныя украинскія пѣсни по своему содержанію, какъ выраженіе минувшей исторической эпохи, вовсе не могутъ быть источникомъ какой-то новой, самобытной малороссійской литературы, не въ состояніи дать ей ни содержанія, ни формъ.

Кромѣ этой народной поэзіи, которая жила только казачествомъ и его воспоминаніями, въ Малороссіи, какъ мы видѣли уже, не было никакой другой литературы. Книжный языкъ, какъ въ отдаленной древности, такъ и послѣ раздѣленія Руси на великую и малую, былъ въ томъ и другомъ краю одинаковый, т. е. представлялъ смѣсь языка церковно-славянскаго съ общерусскимъ. Почти всѣ южно-русскія сочиненія въ XVI и XVII столѣтіяхъ писаны тѣмъ-же самымъ языкомъ, какъ писали въ то время въ Москвѣ. Въ комедіяхъ Симеона Полоцкаго о «Новуходоносорѣ» и «Блудномъ Сынѣ» силлабическіе вирши сложены на языкѣ полуславянскомъ, полумосковскомъ. Пьесы Дмитрія Ростовскаго «Воскресеніе Христово», «Грѣшникъ Кающійся» писаны были въ Малороссіи, и между-тѣмъ онѣ еще болѣе, чѣмъ у Полоцкаго, отличаются великорусскимъ элементомъ, народными словами чисто-московскаго нарѣчія. Если-же въ письменныхъ сочиненіяхъ малороссійскихъ писателей, до начала нынѣшняго столѣтія, изрѣдка и попадаются слова изъ мѣстнаго южнаго нарѣчія, то это зависѣло единственно отъ неумѣнья найти слова чистославянскія или русскія, а вовсе не отъ намѣренія образовать самобытную литературу на провинціальномъ языкѣ. Такимъ-образомъ

до настоящаго столѣтія въ Украинѣ, кромѣ народныхъ пѣсенъ и думъ, не было на малороссійскомъ нарѣчій почти никакой литературы, и представители южнорусскаго племени постоянно примыкали къ общенародной жизни и къ ея умственному движенію. Самые популярныя и талантливыя люди изъ малороссовъ не думали причислять себя къ какому-то особому народу и мечтать о какой-то особой литературѣ: извѣстный украинскій философъ Григорій Сковорода въ своихъ сочиненіяхъ говоритъ постоянно о «русскомъ человѣкѣ», о «русскомъ народѣ». Словомъ, до настоящаго вѣка отъ самихъ малороссовъ никто не слыхалъ о народѣ или языкѣ малороссійскомъ.

Но когда Котляревскій, съ свойственнымъ малорусскому племени юморомъ, передѣлалъ ради шутки Энеиду въ комическую поэму и началъ писать оперетки, въ-половину на русскомъ, въ-половину на мѣстномъ провинціальномъ нарѣчій—эти опыты сильно подѣйствовали на украинцевъ. Между-тѣмъ содержаніе и складъ сочиненій Котляревскаго вовсе не обнаруживали претензій на литературный сепаратизмъ: обращаясь къ элементу народному, они не менѣе того примыкали и къ элементу общерусскому, сколько принадлежали Малороссіи, столько-же относились и къ русской литературѣ. Экземпляры хохлацкой Энеиды не только распространились на югѣ, но проникли во внутреннюю Россію и часто встрѣчались въ семействахъ чисто русскихъ. «Наталка Полтавка» и особенно «Москаль Чаривникъ» сдѣлались достояніемъ русской сцены и пользовались на ней едва-ли не большимъ успѣхомъ, чѣмъ въ самой Малороссіи. Послѣдній водевиль и теперь держится на репертуарѣ петербургскаго театра. Успѣхъ этихъ милыхъ, игривыхъ шутокъ вызвалъ попытки писать на малороссійскомъ нарѣчій и въ другихъ родахъ. Явились повѣсти

Основьяненко «Маруся», «Салдацькій патреть» и также нашли читателей не въ одной Малороссіи: это были легкіе очерки мѣстнаго быта, характеристическія черты провинціальныхъ нравовъ, граціозныя особенности племенныхъ малорусскихъ обычаевъ, живыя и поэтическія картины южнорусской природы. И успѣхъ ихъ былъ вполнѣ заслуженный. Но не смотря на эти опыты, въ то-же время люди съ болѣе обширнымъ дарованіемъ, смотрѣвшіе шире на жизнь и литературу, чувствовали, что мѣстное нарѣчіе способно на однѣ легкія вещи, но никогда не можетъ сдѣлаться языкомъ литературнымъ. Иначе и не могло быть, вслѣдствіе историческихъ судьбъ края, односторонняго значенія его народной поэзіи и провинціального характера мѣстнаго нарѣчія.

Племенная жизнь отдѣльной провинціи нигдѣ не создавала самобытной литературы; не могла создать ее и настоящая жизнь Малороссіи, въ которой съ перерожденіемъ казачества не осталось самобытныхъ элементовъ, внѣ общихъ началъ русской жизни, кромѣ однихъ мѣстныхъ преданій, провинціальныхъ обычаевъ и воспоминаній о давно отжившей старинѣ. Вотъ почему обширному литературному дарованію въ Малороссіи становилось душно въ тѣсномъ кругу провинціального воззрѣнія. Все истинно талантливое неизбежно тяготѣло къ общей русской жизни, къ русскому литературному языку и къ общей нашей литературѣ. Цѣлая толпа даровитыхъ представителей новой русской литературы вышла изъ Украйны, и всѣ эти писатели или съ перваго шага обращались къ русскому языку, какъ Гнѣдичъ и Нарѣжный, или послѣ нѣсколькихъ опытовъ на мѣстномъ нарѣчіи неизбежно примыкали къ общей литературѣ, какъ Основьяненко, Гребенка и наконецъ Гоголь. Это обращеніе лучшихъ талантовъ Украйны къ общерусской ли-



тературной дѣятельности было понятно и естественно: оно происходило не отъ недостатка сочувствія ихъ къ мѣстному элементу, не отъ равнодушія или пренебреженія къ родной странѣ, не отъ чуждаго искусственнаго воспитанія или отъ желанія имѣть большій кругъ читателей; но отъ недостатка литературныхъ элементовъ въ бытовой жизни племени, отъ тѣсноты мелкой провинціальной среды, отъ сознанія возможности одного только литературнаго языка, отъ убѣжденія наконецъ въ томъ, что читающая публика есть общая публика русская. При всей любви къ Малороссіи, при сочувствіи къ ея поэтическимъ преданіямъ, къ ся прекрасной поэзіи старины, истинно талантливые украинскіе писатели понимали, что примыкая неразрывно къ общему русскому отечеству, отъ котораго ихъ родина оторвана была въ печальный періодъ исторіи, она въ будущемъ не можетъ жить отдѣльной, самостоятельной жизнью, и отнынѣ умственная дѣятельность Украины должна также сливаться съ общерусскою дѣятельностію, какъ слились обѣ страны въ отношеніи политическомъ. Всѣ здраво понимающіе дѣло видѣли, что малороссійскіе писатели, обращаясь къ общерусскому языку, вносятъ новыя элементы въ нашу литературу и сами съ другой стороны почерпаютъ въ ней живительныя силы, каковыхъ никогда не въ состояніи дать узкая среда провинціального быта. Эти люди поняли, что малороссійская народная поэзія точно также относится къ русской литературѣ, какъ и русская народная поэзія къ сѣ-сень, сказокъ и былинь, что онѣ могутъ вносить народные элементы въ общую литературу, одухотворять ее живымъ элементомъ народнаго міросозерцанія, но въ то-же время должны слиться въ общемъ источникѣ русской мысли и литературы, и при такомъ только единствѣ можно ждать отъ нея высокаго развитія. Это выразилось въ важнѣйшемъ

представитель нашей новѣйшей литературы, Гоголь: взгляни онъ на ея значеніе съ племенной точки зрѣнія, и кругъ его творчества неизбежно сѣзился-бы, лучшія повѣсти его погибли-бы въ мелкой средѣ провинціального воззрѣнія. Не обратись онъ въ общерусскому міросозерцанію, въ общему русскому языку, и ограничишься своимъ провинціальнымъ нарѣчіемъ, онъ не только не создалъ-бы такихъ народно-художественныхъ произведеній, какъ «Ревизоръ» и «Мертвыя Души», и не написалъ-бы лучшаго нашего историческаго романа «Тараса Бульбу», но самыя его чистомалороссійскія повѣсти, какъ на примѣръ „Вій“ или „Ночь на Рождество Христово“, едва-ли могли-бы сложиться въ томъ видѣ и съ той полнотою мысли и выраженія, какъ онѣ написаны по-русски. И это не оттого, чтобы малороссійское нарѣчіе не могло передать въ той-же красотѣ ихъ сказочнаго содержанія, но потому, что какъ всякій провинціализмъ, оно не въ состояніи дать произведенію того общаго колорита, какимъ отличаются отъ простонародныхъ разсказовъ созданія художественно-литературныя. Доказательствомъ того, что провинціальная среда и мѣстное нарѣчіе не въ состояніи дать широкаго взгляда, а напротивъ сдавливаютъ и задушаютъ всякое дарованіе, служатъ прославленные «Оповіданя» Марка Вовчка. Не смотря на дарованіе писательницы, извѣстной подъ этимъ именемъ, на ея искренность въ разсказѣ и даже нѣкоторую художественность въ компановкѣ характеровъ и положеній, — какая у нея бѣдность въ содержаніи, отсутствіе жизненнаго міросозерцанія, однообразіе въ основной идеѣ, монотонность въ изложеніи и наконецъ какая во всемъ провинціальная мелкость и сентиментальность! Прочти одинъ или два разсказа ея про какую-нибудь малороссійскую «Бѣдную Лизу» или хохлацкаго селадона, вы

уже вполнѣ знаете всѣ мотивы остальныхъ ея повѣстей. Всякій новый рассказъ ея только пересказъ прежняго; это не новая картина, но тотъ - же самый эскизъ съ другой и притомъ очень близкой точки зрѣнія. И все это вращается въ одномъ узкомъ кругу, въ объемѣ одного только вопроса, въ добавокъ теперь исчерпаннаго и отжившаго. Читать новые рассказы этой писательницы также утомительно, какъ слушать двадцать разъ въ ряду, съ ничтожными вариантами, одну и ту-же сказку, пересказываемую въ одномъ тонѣ и тѣмъ-же складомъ.

Но защитники самобытной украинской литературы спросятъ насъ: почему мы забываемъ Шевченко? Мы его не забыли, но оставили нарочно подъ конецъ, какъ самое убѣдительное доказательство, что новая украинская литература невозможна. Шевченко безъ всякаго сомнѣнія одинъ изъ значительныхъ поэтическихъ талантовъ, какіе только произвела Малороссія. Это поэтъ съ обширнымъ дарованіемъ, возникшій изъ среды чисто-народной жизни и отразившій въ себѣ всѣ возможные ея элементы. Но посмотримъ, великъ-ли объемъ содержанія его поэзіи и въ чемъ состоитъ его поэтическое міросозерцаніе? Съ полнымъ уваженіемъ къ дарованію важнѣйшаго представителя Украины, мы скажемъ откровенно свое мнѣніе.

Партія новѣйшихъ украинофиловъ, въ понятномъ удивленіи къ таланту своего земляка, увлеклась до-того, что ставитъ Шевченко на ряду съ Пушкинымъ, Гоголемъ и даже съ величайшими геніями общеевропейскими, чуть не съ Шекспиромъ. Не говоря уже о нелѣпости послѣдняго сравненія, мы находимъ чрезвычайно безразсуднымъ сближать Шевченко съ Пушкинымъ. Можетъ-ли это придти въ голову человѣку, не ослѣпленному мелкими претензіями провинціального патріотизма? Можно-ли, разсуждая спо-

койно, не видѣть огромной разницы между содержаніемъ Пушкина и Шевченко? Пушкинъ, кромѣ самой разнообразной лирики, является намъ и драматургомъ въ «Борисѣ Годуновѣ» и «Каменномъ Гостѣ», и живописцемъ всѣхъ слоевъ современной жизни въ Опѣгинѣ, и великимъ романистомъ въ «Капитанской Дочкѣ»; въ его поэзіи нашлись отзывы Данту и античному міру Греціи, восточной поэзіи и испанской жизни, русской народности и байроновскому скептицизму,—и во всемъ этомъ отразилась великая самобытная личность, въ которой сосредоточилась живая дѣйствительность, во всю глубину исторической и во всю ширину современной жизни. Каково-же содержаніе поэзіи Шевченко?

Что касается до его драматическихъ опытовъ, въ родѣ «Назара Стодоля», то по собственному отзыву самихъ украинцевъ, они не заслуживаютъ вниманія и даже не имѣютъ мѣстнаго значенія въ самой Малороссіи. Всѣ остальные сочиненія Шевченко состоятъ изъ лирическихъ пѣсень, какъ его Кобзарь, или изъ поэмъ и повѣстей, каковы «Гайдамаки» и «Наймичка». Какіе-же въ нихъ выразились мотивы и какое поэтическое міросозерцаніе? Перечитывая пѣсни Кобзаря, вы ясно видите, что это ничто иное, какъ поэзія воспоминанія, послѣдніе отголоски старой жизни въ народной украинской поэзіи: это тѣ-же жалобы наболѣвшаго сердца, тоскливыя мечты и воспоминанія о былой жизни. Тутъ не сказалось ровно ничего новаго, ничего такого, что давно не высказалось-бы у старыхъ кобзарей. При большей силѣ поэтическаго таланта, при большей глубинѣ и теплотѣ чувства, вы находите здѣсь то-же ограниченное мировоззрѣніе, какъ и въ народныхъ украинскихъ пѣсняхъ. И это, повторяемъ, не отъ ограниченности таланта, а только отъ положительной невозможности найти новые мотивы, не выходя изъ узкой колеи провинціального

быта въ широкое русло общенароднаго воззрѣнія. Эпическія сочиненія Шевченко подтверждаютъ это еще лучше и яснѣе. Что такое «Гайдамаки»? Это поэтическое воспоминаніе о былой эпохѣ казачества, произведеніе безспорно высоко-талантливое; но въ немъ не отозвалось никакихъ новыхъ мотивовъ послѣ тѣхъ, въ которыхъ это казачество выразилось въ своихъ старыхъ украинскихъ думахъ: это какъ-будто одна изъ тѣхъ-же думъ, вновь отысканная въ памяти народа и только пропѣтая съ большей художественностью. И какъ скоро Шевченко перешелъ отъ былыхъ воспоминаній казачества къ современной украинской жизни, онъ не могъ найти для своей поэзіи никакихъ сюжетовъ, кромѣ судьбы Наймички, основанной на мотивѣ, почти не имѣющемъ практическаго смысла въ дѣйствительности, да и на томъ отпечатался еще какой-то искусственно-сентиментальный характеръ, придающій разсказу значеніе крайне-исключительное. Такимъ-образомъ вся поэзія Шевченко—или думы о быломъ и невозвратно отжившемъ казачествѣ, или такія явленія современности, которыя составляютъ исключенія изъ общаго хода русской жизни. При всей значительности таланта, содержаніе этой поэзіи бѣдно и одно-сторонне, и сравнивать Шевченко съ Пушкинымъ такъ-же странно, какъ ставить на примѣръ «Москаль-Чаривника» на ряду съ «Ревизоромъ» Гоголя или оперой Глинки.

Извѣстно, что Шевченко пробовалъ писать и на русскомъ языкѣ, но его «Тризна» не произвела никакого впечатлѣнія и не можетъ имѣть ни малѣйшаго значенія въ нашей литературѣ. Крайніе украинофилы говорятъ, будто это обстоятельство доказываетъ, что русскій языкъ пришелся не по натурѣ Шевченко и только въ одномъ родномъ языкѣ малороссійскомъ была жизненная сила для такого истинно-народнаго поэта. На самомъ дѣлѣ мы ви-

димъ тутъ другія причины. Что могъ сказать Шевченко при своемъ исключительно племенномъ міросозерцаніи, послѣ разнообразной поэзіи Пушкина, послѣ глубоко-дѣйствительныхъ и широкихъ по идеѣ произведеній Гоголя? Неудача его въ русской литературѣ, кромѣ исключительнаго и страстнаго влеченія къ чисто-малороссійской средѣ, объясняется самымъ родомъ его дарованія.

Мы говорили уже, что Гоголь, по свойству своего широкаго таланта и глубинѣ общерусскаго воззрѣнія, послѣ первыхъ опытовъ на малороссійскомъ нарѣчій, почувствовалъ тѣсноту провинціальной среды, узкія формы мѣстнаго нарѣчія и невольно перешелъ къ русской литературѣ, гдѣ съ перваго шага сталъ на ту высоту, съ которой легко и свободно было развернуться его разностороннему дарованію въ народной сказкѣ, и въ историческомъ романѣ, и въ современной драмѣ. Напротивъ Шевченко, обращаясь къ русскому языку, неизбежно оторвался отъ исключительно-мѣстной почвы, гдѣ только могъ созрѣть и вырасти прелестный цвѣтокъ его народной, чисто провинціальной поэзіи, и онъ въ средѣ русской литературы не нашелъ того воздуха, который одинъ могъ дать жизнь этому чисто-мѣстному растенію. Понятно, что онъ по необходимости долженъ былъ обратиться туда, гдѣ ему легко и свободно было дышать. Подобный примѣръ мы видѣли раньше и въ нашей литературѣ, въ лицѣ Кольцова, котораго по нашему мнѣнію скорѣе, чѣмъ кого-нибудь другаго, можно поставить на ряду съ Шевченко, если только нужны подобныя сопоставленія. Кольцовъ также вышелъ изъ среды народа и притомъ почти въ той же полосѣ Россіи, такъ-же былъ питомцемъ нашихъ южныхъ степей, и подобно Шевченко, выразилъ бытовую жизнь великорусскаго племени въ народно-художественной пѣснѣ. Но едва только обратился онъ къ

обще-литературнымъ мотивамъ, едва оторвался отъ своей народной среды и своего чисто-народнаго языка, какъ все обаятельное значеніе его поэзіи потерялось, и онъ исчезъ-бы въ толпѣ дюжинныхъ стихотворцевъ, еслибы не возвратился къ своей народной пѣснѣ. Поэтому-то и Шевченко не могъ выдти изъ своей народно-племенной сферы.

Если у насъ чисто-народные мотивы Кольцова нашли глубокое сочувствіе, то понятно, что еще болѣе и сильнѣе должны были отозваться пѣсни Шевченко въ душѣ его украинскихъ земляковъ. Какъ старая сказка няни, онѣ многое говорили сердцу; но какъ простой отголосокъ угасшаго казачества, пѣсни его не могли открыть какого-нибудь новаго міровоззрѣнія. Онъ увеличилъ число хорошихъ книгъ на малороссійскомъ нарѣчій, но не создалъ никакой новой малороссійской литературы. Поэтому правъ и Бѣлинскій, который говорилъ, что не знаетъ такой литературы, правъ и Аксаковъ, когда замѣтилъ, что отдѣльная малороссійская литература «полезна только для домашняго обихода».

Обращаясь къ исторіи европейскихъ литературъ, мы вездѣ найдемъ доказательства противъ возможности особой литературы въ какой-нибудь провинціи. У рѣдкой изъ нынѣшнихъ европейскихъ націй, въ какомъ-нибудь періодѣ ихъ жизни, не было отдѣльныхъ нарѣчій и на нихъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ, а иногда даже и письменныхъ сочиненій.

Извѣстно, что во Франціи, въ первую пору національнаго развитія, образовались два значительно-отличныя нарѣчія — собственно французское на сѣверѣ и провансальское на югѣ. На томъ и другомъ возникла народная поэзія. Съ перваго взгляда казалось-бы, что поэзія южныхъ трубадуровъ имѣетъ болѣе данныхъ къ преобладающему

вліянію на будущую французскую литературу, что провансальскій d'oil долженъ больше участвовать въ образованіи французскаго языка, чѣмъ сѣверный d'os. Южная часть Франціи, гдѣ совершалась религіозная борьба христіанскаго рыцарства съ мавританскими проповѣдниками Корана, гдѣ Карлы Мартелы отстаивали вѣру и народность страны противъ Абдеррахмановъ, гдѣ отлпчался подвигами самъ Карлъ Великій, должна будетъ поглотить умственную жизнь сѣвера или по-крайней-мѣрѣ не дать ему поглотить своей болѣе и ранѣе развитой жизни. Въ поэзіи трубадуровъ было несравненно больше чувства и энергіи, ихъ серены и новеллы отличались болѣею граціей и задумчивостью. Между-тѣмъ, когда по силѣ историческаго хода событій различныя области Франціи начали сливаться въ одно цѣлое и разныя племена стали слагаться мало-по-малу въ одинъ могучій народъ, подъ преобладающимъ вліяніемъ сѣвернаго края, — тогда оба нарѣчія срослись въ одинъ общій французскій языкъ, и южная поэзія съ своимъ лирическимъ характеромъ уступила вліянію болѣе суровой, но и болѣе широкой эпической литературѣ сѣвера. Впослѣдствіи южная Франція произвела много даровитыхъ писателей, по ея мѣстная литература замерла въ провинціальныхъ пѣсняхъ, а прежній мѣстный языкъ сохранилъ только неважные провинціализмы въ бывшемъ Провансѣ, да въ Гаскони. Между-тѣмъ литература Корнелей, Расиновъ, Мольеровъ сдѣлалась общей литературой для всей Франціи.

Подобное явленіе мы находимъ и въ Германіи. Изъ цѣлаго ряда различныхъ языковъ германскаго племени въ средніе вѣка выдѣлились особенно два нарѣчія, верхне-нѣмецкое или hochdeutsch и нижне-нѣмецкое или plattdeutsch. Въ то время, когда письменная литература этой эпохи вы-



ражалась въ Германіи большею частію на языкѣ латинскомъ, который былъ книжнымъ языкомъ всей страны, какъ у насъ церковно-славянскій, на обоихъ нѣмецкихъ нарѣчіяхъ явились народныя пѣсни и возникъ народный эпосъ. Оба эти нарѣчія съ разными своими подраздѣленіями отличались одно отъ другаго нисколько не меньше, чѣмъ наши южно-русское и сѣверно-русское нарѣчія. При частыхъ колебаніяхъ государственной жизни, феодальномъ раздробленіи страны и страшномъ разединеніи племенныхъ и династическихъ интересовъ, германскія племена и нарѣчія все больше разобщались, а литературныя произведенія на этихъ мѣстныхъ патуа все значительнѣе отличались по своему выраженію. Казалось, какъ Германія политически раздробилась на множество самостоятельныхъ владѣній, такъ должно будетъ образоваться въ ней и нѣсколько самостоятельныхъ литературъ; но общій національный духъ вышелъ побѣдоносно изъ этого хаоса. Явился лютеровъ переводъ библіи, въ который преимущественно вошли элементы сѣвернаго нарѣчія, и этотъ новый языкъ сдѣлался общимъ литературнымъ языкомъ для всей нѣмецкой націи. Откуда ни являлись потомъ нѣмецкіе писатели—они всѣ обращались отъ своихъ провинціальныхъ нарѣчій къ этому литературному языку. Несмотря на то, что народныя пѣсни и древняя поэзія на hochdeutsch и plattdeutsch отличаются больше, чѣмъ великорусская и малороссійская народная поэзія — ни швабу, ни прусаку, ни саксонцу не приходитъ теперь въ голову оскорбляться господствомъ одного литературнаго языка, обращаться къ своему провинціальному говору и мечтать о своей отдѣльной литературѣ. Гете, Лессингъ, Шиллеръ, Гейне — писатели одинаково дорогіе для образованнаго населенія всей Германіи. И вотъ почему нѣмецкая литература, сосредоточивая всѣ духовныя силы народа въ одномъ об-

щемъ стремленіи, достигла въ короткое время высокаго развитія.

То-же самое мы видимъ и въ Англіи. Когда остатки кельтскихъ племенъ вытѣснены были саксами и норманнами изъ южной части острова въ Шотландію и Уэльсъ, тамъ образовались особые языки, на нихъ начали слагаться народныя пѣсни, и раньше другихъ частей Великобританіи явилась на сѣверѣ и западѣ богатая лироэпическая поэзія бардовъ, которой отголоски сохранились въ народной памяти до позднѣйшаго времени. Но когда исторія рѣшила, что политическое преобладаніе должно остаться за Англіей, языкъ ея сдѣлался единственнымъ литературнымъ языкомъ для всей націи, и даровитѣйшіе люди, выходившіе изъ Уэльса, Шотландіи и даже Ирландіи — Свифтъ, Борнсъ, Муръ, Вальтеръ-Скоттъ — не думали нисколько о литературномъ возрожденіи своихъ мѣстныхъ нарѣчій, а приносили всѣ силы своего дарованія на общую литературную дѣятельность Англіи.

Наконецъ такое-же историческое явленіе повторилось и въ Италіи. Едва-ли есть страна, гдѣ по ходу историческихъ обстоятельствъ сложилось-бы столько отдѣльных, рѣзко отличныхъ одно отъ другаго нарѣчій. До-сихъ-поръ въ сѣверной и южной Италіи языкъ дотого отличенъ, что піемонтецъ съ трудомъ понимаетъ неаполитанца, а калабриецъ слышитъ совсѣмъ другую рѣчь въ говорѣ венеціянца. И между-тѣмъ, только-что настала въ Италіи пора литературнаго развитія, какъ флорентинское *volgare illustre* сдѣлалось общимъ литературнымъ языкомъ для всей Италіи. Дантъ, Петрарка, Аріостъ — одинаково національные поэты для всѣхъ итальянцевъ отъ Алпійскихъ-горъ до южной оконечности Сициліи. Случалось, народъ въ какомъ-нибудь углу Италіи перелагалъ знаменитыхъ поэтовъ на свое нарѣчіе,

какъ сдѣлали венеціанскіе гондолеры съ пѣснями «Освобожденнаго Іерусалима», но это никого не заставляло думать о какой-нибудь литературѣ на мѣстномъ нарѣчій, не смотря на то, что даровитѣйшіе представители итальянской поэзіи вышли изъ разныхъ провинцій. Тассъ былъ родомъ изъ Соренто, Аріостъ изъ Реджіо, а между-тѣмъ они писали на литературномъ языкѣ, который рѣзко отличался отъ простонароднаго нарѣчія ихъ родины. Одинъ изъ проповѣдниковъ самобытной украинской литературы, говоря о народной поэзіи какъ источникѣ литературы письменной, ссылаясь на Боккаччіо, который будто-бы большую часть рассказовъ своего Декамерона собралъ «въ народнѣхъ устѣхъ», почему они и послужили неистощимымъ источникомъ романовъ, драмъ и комедій, разлетѣвшихся по всей Европѣ. Но именно Боккаччіо служитъ доказательствомъ, что преданія, хранящіяся на народныхъ нарѣчіяхъ, могутъ быть только матеріаломъ для общей литературы, а не основой отдѣльныхъ письменныхъ литературъ на какомъ-нибудь провинціальномъ патуа. Боккаччіо родился въ Парижѣ, провелъ значительную часть жизни въ Неаполѣ—и вездѣ собиралъ народные рассказы, но онъ передавалъ ихъ не на провинціальномъ нарѣчій, съ котораго подслушивалъ, а на общемъ литературномъ итальянскомъ языкѣ, обработанномъ флорентинцемъ Дантомъ.

Въ одномъ только мѣстѣ мы видимъ, какъ два близкія нарѣчія одного и того-же языка разложились на два языка самостоятельныя и произвели двѣ отдѣльныя литературы. Это было на Пиринейскомъ-полуостровѣ. Тамъ коренной романцо раздробился на два главныхъ нарѣчія, сѣверное или кастильское и югозападное, и несмотря на близкое родство, они не слились при успѣхахъ образованія, но мало помалу португальское нарѣчіе выработалось въ особый языкъ

съ самобытною литературой. И это случилось только вслѣдствіе политическаго отдѣленія Португаліи въ самостоятельное государство. Еслибы португальцы вошли съ испанцами въ составъ одного политическаго цѣлаго, то конечно романцо остался-бы только провинціальнымъ нарѣчіемъ, въ родѣ наримѣръ лимозинскаго, и вся мѣстная литература его ограничилась-бы однѣми народными пѣснями *Canções*, представляющими, какъ и наши казацкія думы, борьбу христіанскаго населенія съ напоромъ завоевательнаго магометанизма. Мы могли-бы еще указать на литературу голандскую, шведскую и датскую, въ доказательство того, что племенные нарѣчія организуются въ самостоятельные языки и порождаютъ самобытныя литературы только въ такомъ случаѣ, когда самыя племена слагаются по ходу историческихъ обстоятельствъ въ отдѣльныя государства.

Но можетъ-быть здѣсь намъ укажутъ на то явленіе, которое совершается теперь въ славянскихъ земляхъ, гдѣ чуть не каждое племя стремится поднять свое нарѣчіе на степень литературнаго языка. Мы съ своей стороны въ этомъ явленіи находимъ новое подтвержденіе высказанной нами мысли. Съ одной стороны это покушеніе на образованіе литературныхъ формъ въ разныхъ славянскихъ нарѣчіяхъ вытекаетъ изъ стремленія этихъ племенъ къ политической независимости, къ освобожденію отъ долгаго порабощенія. Съ другой стороны это крайнее дробленіе родственныхъ языковъ на мелкіе діалекты и нежеланіе слиться съ другими родственными и болѣе развитыми нарѣчіями служитъ печальной причиною того обстоятельства, что до-сихъ-поръ эти племена, несмотря на всѣ усилія, не могутъ организоваться въ плотную и сильную массу. Эти претензіи каждаго мелкаго племени на литературную самобытность своего нарѣчія, частію вслѣдствіе духа сла-

вянской разрозненности, а еще болѣе отъ внушеній враговъ славянскаго единства, дошли до того, что даже галиційскіе русины, у которыхъ во все время дѣятельности Львовской-академіи былъ одинъ съ нами письменный языкъ, стараются теперь оторваться отъ малороссійскаго элемента и образовать свой особый языкъ, съ своимъ особымъ правописаніемъ. Такимъ-образомъ всѣ историческіе факты доказываютъ, что при настоящемъ положеніи Малороссіи въ ней не можетъ быть никакой самобытной литературы, и всѣ усилія партіи создать ее должны остаться совершенно напрасными.

Откуда-же могла явиться такая бесплодная мысль, чѣмъ она поддерживалась и что ожидаетъ ее въ будущемъ?

Кто-то соболѣзнуя о томъ, что малороссійскіе писатели держатся разныхъ украинскихъ нарѣчій, высказалъ мысль, будто разрозненность эта зависитъ отъ слабости инстинкта народной централизаціи въ южно-русскомъ племени. Мысль эта, по нашему мнѣнію, довольно справедлива и объясняетъ одну изъ причинъ самаго появленія украинофильской школы. Этотъ именно слабый инстинктъ народнаго единства выразился безсознательно въ одномъ словѣ украинскаго населенія на образованіи мнимо-народной партіи. Какъ и у славянъ австрійскихъ и турецкихъ, въ этомъ проявляется очевидное стремленіе къ обособленію въ языкѣ и литературѣ. У насъ сравнивали украиномановъ съ славянофилами. Это невѣрно: если тутъ и есть какое-нибудь сходство во внѣшнихъ пріемахъ, то въ самомъ направленіи между ними нѣтъ ничего общаго. У славянофиловъ въ основѣ ученія лежатъ идеи, которыя ведутъ къ сліянію народныхъ силъ, къ сознанію самобытныхъ источниковъ русскаго духа и сплоченію всѣхъ элементовъ нашей общерусской жизни. Напротивъ, школа украинофиловъ, обращаясь

къ своей старинѣ и преданіямъ, проповѣдуетъ объ отдѣленіи провинціального говора отъ общаго языка, о возрожденіи племенной литературы и слѣдовательно о разъединеніи русскихъ силъ. Современная европейская мысль о правахъ національностей выродилась здѣсь въ односторонній провинціализмъ, который перетолковалъ великую идею въ смыслъ узкаго племеннаго возрожденія. Безъ сомнѣнія въ этомъ увлеченіи участвовала и любовь къ народу; но вмѣсто того, чтобы понять необходимость общаго дружнаго дѣйствія со всей массою русскаго народа, на пути улучшеній и прогресса, духъ односторонней партіи потребовалъ обособленія въ языкѣ и литературѣ. Наконецъ въ образованіи украинофильской школы была еще причина: это мелкое самолюбіе посредственности, которая, не находя силъ проявить себя чѣмъ-нибудь въ богатой уже средѣ русской литературы, обильной разнородными талантами, искала возможности выдвинуться какъ-нибудь изъ неизвѣстности и нашла эту возможность въ малороссійской племенной литературѣ, гдѣ до нынѣшняго вѣка не было почти письменности, а поэтому на безлюдьи и Оома могъ сдѣлаться дворяниномъ. Тутъ для посредственности открывалось чистое поле, широкое какъ украинская степь: пиши романы, повѣсти, комедіи, составляй словари, грамматики, счетніці, коверкай правописаніе—вездѣ будешь первый и найдешь какихъ-нибудь читателей и почитателей. Нѣтъ сомнѣнія, что въ числѣ писателей на малороссійскомъ нарѣччіи многіе обратились къ нему только по этому побужденію.

Мы говоримъ конечно объ одной партіи, и наши слова не относятся ко всѣмъ представителямъ южнорусской дѣятельности. Извѣстно, что люди съ истиннымъ талантомъ не примыкали къ этому кружку и не раздѣляли его увлеченій, а входила въ него посредственность, оскорбленное

самолюбіе или наконецъ, желаніе быть во что-бы ни стало популярнымъ, при невозможности проявить себя въ широкомъ кругу общерусской жизни. Нарѣжные, Гоголи, Глинки чувствовали тѣсноту провинціальной колен и выходили изъ нея съ запасомъ свѣжихъ силъ на широкую дорогу русской дѣятельности; а люди бездарные оставались вѣрными своимъ племеннымъ возрѣніямъ, и благодаря новостямъ и нѣкоторой заманчивости своихъ стремленій, возбуждали иногда шумъ въ своемъ муравейникѣ. Одинъ Шевченко въ этомъ отношеніи составляетъ исключеніе, какъ послѣдній истинно-народный украинскій кобзарь и пѣвецъ былой жизни стараго казачества; но онъ писалъ не по принципу литературнаго сепаратизма, а потому что былъ истиннымъ пѣвцомъ той стороны народной жизни, которая могла найти отголосокъ только на одномъ мѣстномъ нарѣчій. Подобное явленіе можетъ повториться и въ будущемъ: на малороссійскомъ нарѣчій можетъ-быть явятся и другіе поэты, но не иначе какъ въ лирическомъ родѣ, подъ напѣвы старыхъ кобзарей. Въ этой среды все истинно-даровитое, по неизбѣжному ходу исторіи, не перестанетъ тяготѣть къ общерусской жизни и литературѣ, и развѣ только самолюбивая посредственность да узкій патріотизмъ увлекутся ложно-народнымъ стремленіемъ, пока не замрутъ подъ равнодушнымъ безучастіемъ массъ, не поддающихся на голосъ бесплодныхъ мечтаній.

Выскажемъ въ заключеніе прямо нашу мысль. Историческій опытъ вѣковъ и здравый смыслъ показываютъ, что нигдѣ провинціальное племя не имѣло и не можетъ имѣть особой литературы. Противное мы находимъ только въ Австріи, сплоченной изъ народностей совершенно чуждыхъ, которыя никогда не сойдутся въ общихъ интересахъ и не сольются въ одно органическое цѣлое. Но зато мы знаемъ,

чего можно ожидать отъ этой страны? Тамъ дѣйствительно есть нѣсколько литературъ, кромѣ нѣмецкой: тамъ и отдѣльная литература чешская, и особая литература венгерская—и никто конечно не назоветъ ихъ литературами провинціальными и не скажетъ, что чехъ Гавличекъ или мадьяръ Верошмартъ составляютъ что-нибудь общее съ Гейне, Гервегомъ и Фрейлихратомъ. Еслибы Малороссія была въ отношеніи къ Россіи въ такомъ-же положеніи, какъ Богемія или Венгрія къ Австріи, тогда мы согласились-бы съ редакціей львовской «Меты» и готовы были-бы допустить возможность и процвѣтаніе самобытной малороссійской литературы. Но къ счастью этого нѣтъ: Южно-русскій-край, и по-своему географическому положенію, и по историческимъ судьбамъ, и по настоящему тяготѣнію, и по всей массѣ народныхъ инстинктовъ, составляетъ неразрывную часть общерусской земли, а поэтому въ немъ, связанномъ съ нами въ одно цѣлое, не можетъ быть и самостоятельной литературы. Можно пожалуй допустить тамъ первоначальное обученіе на мѣстномъ нарѣчій, но простой здравый смыслъ показываетъ, что въ немъ не можетъ быть ни высшаго образованія на этомъ мѣстномъ патуа, ни ученыхъ изданій, ни своихъ мѣстныхъ журналовъ. Если наша литература не сильно противоdѣйствовала подобнымъ затѣямъ, то это оттого, что и самыя народныя массы въ Малороссіи не заявляли къ нимъ сочувствія. Но при-всѣмъ-томъ жаль, что силы, хотя и не обширныя, однако все-же способныя приносить пользу въ общей дѣятельности и ускорять обобщеніе русской науки и литературы, тратятся на дѣло совершенно бесплодное по своимъ конечнымъ результатамъ.

Еслибы историческая необходимость, вмѣсто великорусскаго племени, поставила въ главѣ народной жизни племя



малороссійское и въ немъ сложилось-бы зданіе государственнаго единства и силы, а языкъ его сдѣлался языкомъ науки и литературы—и послѣ этого сплоченія народа, гдѣ-нибудь на сѣверѣ, въ Москвѣ или Новгородѣ, по уцѣлѣвшимъ историческимъ и бытовымъ пѣснямъ и сказкамъ какіе-нибудь провинціальныя патріоты начали-бы толковать объ отдѣльной самостоятельности своего сѣверно-русскаго языка и закладывать «основу» какой-то своей самобытной и независимой литературы — не имѣлъ-ли-бы тогда права русскій народъ назвать эти провинціальныя великорусскія претензіи ненужными и бесплодными? Россія одна—и въ ней можетъ быть только одинъ литературный языкъ, одна русская наука и одна русская литература. Отрицать это можетъ только самолюбивая бездарность или узкій провинціальныя патріотизмъ.

---

## СЫНЪ ДЬЯЧКА И КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧКА.

(Впечатлѣніе академической выставки).



Кто не знаетъ небольшой, но мѣтко задуманной и прекрасно выполненной картины покойнаго Ѳедотова—Встрѣча жениха или сватовство майора? У всѣхъ, кто сколько-нибудь интересуется искусствомъ, осталась конечно въ памяти эта живая сцена нашей русской жизни. Вы конечно помните ее? Въ купеческой гостиной, увѣшанной портретами какихъ-то генераловъ, съ люстрой изъ стеклушекъ, съ накрытымъ столомъ и бутылкой шампанскаго, встрѣчаютъ пріѣхавшаго жениха. Толстолицый и бородатый хозяинъ дома, какой-нибудь разбогатѣвшій лабазникъ или дровяникъ, торопливо застегиваетъ длиннополую сибирку; плотная его сожительница, гладко повязанная шелковымъ платочкомъ съ рожками на лбу, удерживаетъ за блондовый хвостъ разодртую впухъ зрѣлую дочь-невѣсту, которая въ жеманномъ испугѣ всплеснула руками и, кажется, готова убѣжать съ замершею на губахъ фразой Липочки Островскаго: «а ну, какъ я передъ нимъ сконфужусь! ахъ, страмъ

какой! что онъ подумаетъ? А дверь уже отворилась: входитъ, весело согнувшись, старуха-сваха, въ праздничномъ шугаѣ, и за нею въ передней видна и высокоблагородная фигура самого жениха, который молодецки подперся лѣвой рукою въ бокъ, а правой закручиваетъ усы и въ то-же время побѣдоносно приподнимаетъ густо-эполетированныя плечи. Какъ все это просто и натурально!

Недавно выставлена была въ Академіи-Художествъ другая маленькая, но прекрасная картина художника Перова—Сынъ дьячка, произведенный въ коллежскіе регистраторы и примѣривающій вицмундиръ. Сцена—также ловко подмѣченная и искусно переданная. Въ тѣсной комнатѣ городского причетника, обставленной всѣми принадлежностями темной бѣдности и невольныхъ лишеній, собралась семья въ великую минуту, когда портной принесъ примѣрить форменный фракъ на хозяйскаго сына, только-что произведеннаго въ первый чинъ. Дьячекъ-отецъ, простой и по-видимому добрый кривой старичекъ, съ сіяющимъ радостью лицомъ, смотритъ всей силою одинокаго глаза на чиповную плотъ отъ плоти своей и, кажется, хочетъ вскочить ему на шею, повитую бархатнымъ воротникомъ. Набожная старушка-мать замерла въ теплой молитвѣ надъ созерцаніемъ свѣтлыхъ пуговицъ, сіяющихъ на фалдахъ сына. Дочь ихъ, простая и должно-быть работающая дѣвушка, съ благоговѣніемъ и нѣкоторой завистью любитъ серебряной кокардой на братниной фуражѣ. А самъ виновникъ этой торжественной сцены, вытянувшись во весь ростъ, стоитъ посреди комнаты въ новомъ вицмундирѣ, величавый точно Готфредъ, надѣвающій латы передъ боемъ, съ глубокимъ сознаніемъ достоинства въ каждомъ изгибѣ тѣла, въ каждой чертѣ лица; и портной, вполне понимающій важность

своего призванія въ этотъ торжественный моментъ, съ глубоко-серьезнымъ лицомъ и даже нѣкоторой гордостью согнулся передъ своимъ паціентомъ и мѣломъ намѣчаетъ выемку на вожденномъ вицмундирѣ. Сколько во всемъ этомъ истины и жизни!

Въ картинахъ этихъ привлекаетъ зрителей разумѣется комическая сторона русской жизни, давно обратившая на себя вниманіе нашей сатиры. Неразъ уже перо комика и карандашъ художника преслѣдовали и осмѣивали эту несчастную слабость нашихъ простыхъ людей гоняться за переходомъ въ высшее сословіе. Зло и остроумно смѣялись мы надъ тѣмъ, что наши купцы, разбогатѣвъ изъ крестьянъ и только-что сбросивъ лапти или смазанные дегтемъ осташи, неловко обставляютъ себя предметами европейской жизни—стараясь помирить свою родную чуйку и длиннополую поддевку съ пролеткой на лежачихъ ресорахъ, свою жарко-натопленную лежанку съ роскошной мебелью Тура, свою безграмотность и зѣвоту при видѣ всякой книги, кромѣ конторской, съ необходимостью воспитывать дочерей въ модныхъ пансіонахъ на лансѣ и французскомъ языкѣ. Съ негодованіемъ смотрѣли мы на печальные опыты богатыхъ купцовъ выводить въ офицеры и дворяне своихъ избалованныхъ сынковъ, которые потомъ, вырываясь изъ среды прежняго сословія, дѣлались только героями Дюсо и Излера, бойко спускали наторгованное годами родительское достояніе и хлопотали всѣми силами о томъ, чтобы забыть свое прежнее званіе. Неутомимо глумились мы надъ этимъ постояннымъ бредомъ купеческихъ дочекъ о женихахъ военныхъ, надъ этой страстью купцовъ выдавать ихъ съ сотнями тысячъ приданаго за князей или графовъ, которые и брали этихъ дѣвъ только въ качествѣ приданаго къ получаемымъ тысячамъ. Мы не переставали изум-

ляться, видя, что грустныя развязки подобныхъ браковъ не вразумляютъ этихъ неразумныхъ, и они продолжаютъ гоняться за чиновными зятями, которые послѣ свадьбы часто не пускаютъ ихъ и на порогъ. Такъ-же остроумно смѣялись мы и надъ этими семинаристами, когда они лѣзли въ чиновники, Богъ знаетъ для-чего мѣняли свои под-  
рядники на вицмундиръ, съ нѣжностью смотрѣли на свои свѣтлыя пуговицы и являлись въ свѣтской жизни съ нестираемой отмѣткой приемовъ и говора своего • прежняго быта и сословія.

Все это давно осмѣяно перомъ, карандашемъ и кистью, въ карикатурѣ и сатирѣ, начиная съ фонвизинскаго Кутейкина и до типовъ Островскаго. И дѣйствительно, во всемъ этомъ много смѣшнаго.

Но всматриваясь въ дѣло внимательнѣе, кто не согласится, что подъ комическимъ складомъ этой стороны жизни видна и обратная сторона медали, возбуждающая что-то другое, кромѣ смѣха. Мнѣ кажется, всѣ эти явленія прямо вытекаютъ изъ смысла нашего общества, изъ сущности нашихъ сословныхъ отношеній, и самыя картины Өедотова и Перова, заставляя улыбаться при видѣ этихъ безъ-сомнѣнія смѣшныхъ сценъ, въ то-же время наводятъ на печальныя мысли такъ-же, какъ и смѣхъ Гоголя. Не одинъ хохотъ возбуждаютъ онѣ въ душѣ какого-нибудь простаго губернскаго купца или церковнаго причетника. На выставкахъ я иногда вглядывался въ лица купцовъ, когда они подходили къ такимъ картинамъ, какъ Сватовство майора, Өедотова, или Прерванное обрученіе, Волкова. Въ добродушно-пасмѣшливой ихъ улыбкѣ, мнѣ кажется, видѣлось что-то кромѣ обиды за мѣтко-подсмотрѣнныя художникомъ черты ихъ быта. Намъ конечно во всемъ этомъ бросается въ глаза одна комическая сторона;

но надобно войти въ положеніе тѣхъ, на кого бьетъ сатира, надобно пережить и перечувствовать эту жизнь—и картина получитъ нѣсколько иное освѣщеніе.

Легко смѣяться намъ при видѣ, какъ бѣдный дьячекъ празднуетъ высоко-торжественную минуту производства въ чинъ своего молодого сына. И въ-самомъ-дѣлѣ смѣшонъ тотъ восторгъ, съ какимъ эти бѣдные люди смотрятъ на видмундиръ, кокарду и свѣтлыя пуговицы форменнаго облаченія. Еще смѣшнѣе можетъ-быть станетъ для насъ эта сцена, когда мы представимъ будущую судьбу этого чиновника, обреченнаго на служеніе въ какомъ-нибудь провинціальномъ судѣ, [среди вѣчнаго скрипа перьевъ, въ кругу фаланги такихъ-же чернильных витязей, гдѣ суждено ему, какъ бѣлѣ, вертѣться въ неостанавливающемся колесѣ мелкаго честолюбія и интригъ передъ высшими и жалкаго чванства съ нечиновными. Въ этой перспективѣ открывается ему долгая жизнь съ протертыми локтями и истоптанными до дыръ подошвами, съ полдюжиной голодныхъ дѣтей и кучей заботъ о сторублевой пенсіи подъ старость. И конечно смѣшно, когда выходъ на такую дорогу семья празднуетъ, точно какое-нибудь торжество. Но тутъ-то и нужно вспомнить, изъ какой среды ведетъ этотъ выходъ.

Чтобъ понять это, надобно представить жизнь и общественное положеніе церковнаго причетника въ провинціальномъ городѣ. Въ глазахъ высшей духовной власти онъ стоитъ ниже лакея, не слышитъ никогда приличнаго слова, долженъ ползать на колѣнахъ, творить земные поклоны, какъ передъ иконами, и яко благостыню принимать всякаго рода головомойки и распеканья. Въ обществѣ онъ совершенный нуль, видитъ только презрѣніе, слышитъ однѣ оскорбительныя клички и обидныя

прозвища. Кто-же не пожелаетъ выхода изъ этого положенія?

Понятно, какъ пріятно должно быть такому человѣку при одной мысли, что любимый сынъ выходить въ другое сословіе, гдѣ по его понятіямъ онъ будетъ прикрытъ чиномъ отъ множества горькихъ и унижительныхъ оскорбленій. Конечно, этого нѣтъ въ кругу священниковъ, и тамъ старики смотрятъ даже недоброжелательно на дѣтей, если они переходятъ въ свѣтское званіе; но для бѣднаго провинціального дьячка такой случай—дѣйствительно великій праздникъ. Вотъ почему чиновничій вицмундиръ на плечахъ сына нетолько плѣняетъ его блескомъ гербовыхъ пуговицъ, но кажется ему священной эгидой, подъ которою молодой человѣкъ будетъ защищенъ отъ тысячи оскорбленій, съ какими самъ старикъ дожилъ до этого утѣшительнаго дня. Здѣсь чувства отца и матери понятны, вызываютъ не одну насмѣшку карикатуриста, а вмѣстѣ съ тѣмъ и гуманное чувство теплаго состраданія. Вотъ отчего намъ кажется, что въ картинѣ Перова, можетъ-быть противъ воли художника, подъ сатирическимъ покровомъ вымысла затаилась мысль болѣе глубокая и серьезная, которой не можетъ вполне заглушить и истинно-комическое положеніе главнаго лица, юнаго коллежскаго регистратора.

Таже самая мысль, еще съ большей ясностью, является при взглядѣ на картину Федотова.

Мы смѣемся, какъ полуобразованный купецъ хлопочетъ вывести своего сына въ дворяне, а молодой человѣкъ спускаетъ потомъ нажитое отцемъ состояніе на карты, попойки или танцовщицу, стыдится своего прежняго званія, презираетъ своихъ длиннополыхъ родныхъ, и отставъ отъ одного берега, не умѣетъ твердо стать на другомъ. Намъ забавно, когда въ купеческую семью входитъ какой-нибудь

гусарскій офицеръ, беретъ громомъ своей сабли нажитыя купцомъ деньги и потомъ указываетъ двери своимъ дорогимъ тятинкѣ и маменькѣ. Насъ беретъ смѣхъ при видѣ того, какъ молоденькая купеческая дочка, воспитанная на ватрушкахъ и блондахъ, на почтеніи къ деньгамъ и эполетамъ, дѣлается полубарыней и блѣднѣетъ при одномъ воспоминаніи о томъ, что она была купчихой. Повторяю, все это смѣшно, но въ то-же время довольно грустно и совершенно понятно. Кто знаетъ быть нашего провинціального, чисто-русскаго купечества, для того нѣтъ въ этомъ ничего страннаго и удивительнаго.

Не смотря на то, что этотъ классъ, по своей независимости и массамъ своихъ капиталовъ, могъ-бы играть у насъ такую-же видную роль, какъ и у другихъ, мы видимъ напротивъ всю нетвердость его положенія. У насъ самое имя купца въ глазахъ высшаго сословія пользуется не лучшимъ значеніемъ, чѣмъ и прозвище кутейника. Уваженіе къ купцу рѣдко отдѣляется отъ уваженія къ его капиталу. Мы обращаемся съ нимъ, какъ съ разбогатѣвшимъ мужикомъ, любимъ приглашать его къ пожертвованіямъ, позволяемъ при разныхъ случаяхъ давать обѣды и праздники въ честь властей, но никогда не позволимъ ему сѣсть съ нами въ одни сани. Въ провинціи купецъ постоянно долженъ кланяться не только губернатору или городничему, но и частному приставу; послѣдній приказный, послѣдній регистраторъ, едва годный на переписку бумагъ, считаетъ себя выше, какъ человѣкъ благородный,—и если ему нѣтъ прямыхъ выгодъ браться съ купцомъ, то онъ не замедлитъ показать ему свое превосходство. А посмотрите на купеческихъ жепъ и дочерей. Хотя ихъ блондовыя платья и брильянты возбуждаютъ зависть, но ихъ самихъ очень многіе вовсе не считаютъ за лицъ, могу-



нихъ принадлежать къ тому обществу, которое составляютъ наши барыни, *dames de la société*. Въ ложѣ театра купчиху ожидаютъ высокомѣрнымъ взглядомъ, а попробуй она явиться въ собраніе, гдѣ танцуютъ барыни—ее сплошь и рядомъ ждетъ позорный остракизмъ.

Что-же удивляться послѣ этого, если купцы наши, не смотря на сотни плачевныхъ примѣровъ, постоянно заботятся вывести сына въ дворяне и выдать дочь за офицера или за князя! Не естественно-ли въ нашемъ купцѣ желаніе ввести свою дочь въ тотъ кругъ, гдѣ она избавлена будетъ отъ оскорбленій, видѣть ее подъ-руку съ человекомъ, подъ защитой котораго по-крайней-мѣрѣ на улицѣ первый встрѣчный не можетъ безнаказанно ее обидѣть. Нѣтъ, въ офицерской саблѣ видать наши купцы не одну побрякушку, а настоящее оружіе для защиты своихъ дочерей, въ эполетахъ прельщаетъ ихъ не одинъ блескъ, а благодѣтельная эгида противъ тысячи непріятностей. Здѣсь сказывается не эгоизмъ, не пустое чванство, а инстинктивная забота отцовской любви, хоть и въ грубой формѣ.

Намъ возразить можетъ-быть, что сотни примѣровъ показываютъ безпрестанно, къ чему ведутъ подобные браки, что рѣдкому не случилось видѣть, какъ мужъ-офицеръ, промотавъ женнины деньги, съ презрѣніемъ трактуетъ своихъ новыхъ родныхъ, а иногда даже выгоняетъ изъ дому и жену-купчиху. Такіе примѣры точно не рѣдки. Но они-то, кажется, больше всего и подтверждаютъ нашу мысль. Купцы безъ-сомнѣнія лучше другихъ знаютъ результаты подобныхъ браковъ, и при-всемъ-томъ они упорно продолжаютъ ловить дочерямъ своимъ благородныхъ жиниковъ на удочку своихъ капиталовъ. Въ этомъ-то и выражается ихъ пониманье своего положенія: они хотятъ, во-что-бы

ни стало, хоть-бы съ потерей состоянія и даже спокойствія, вывести дѣвушку изъ среды, въ которой ея общественное значеніе ничѣмъ не гарантировано. Не надобно забывать, что купецъ можетъ-быть завтра, вслѣдствіе одного несчастнаго оборота, рискуетъ потерять состояніе, а вмѣстѣ съ нимъ и единственное свое значеніе: за певзность гильдейскаго капитала онъ тотчасъ-же будетъ приписанъ въ мѣщане и увидитъ въ перспективѣ самую темную дорогу. Кто-же рѣшится обвинить человѣка, который, понимая всю горечь такого шаткаго положенія, ищетъ возможности, какими-бы ни было средствами и съ какимъ-бы ни было пожертвованіемъ, вывести своихъ дѣтей изъ такого печальнаго круга жизни. Кто-же, говоря по совѣсти, рѣшится бросить камень въ этихъ людей, которые не видятъ другаго средства поставить дѣтей въ лучшее положеніе!

Отчего-же все это зависитъ? Говорятъ, здѣсь вопросъ въ одномъ только образованіи: еслибы купечество, при своемъ независимомъ положеніи и капиталахъ, было просвѣщеннѣе, мы не видали-бы въ немъ этой смѣшной гонки за дворянствомъ. Это справедливо, но только при условіи общаго образованія всего сословія. Въ настоящее время образованность отдѣльнаго лица ничѣмъ не гарантируетъ его: мы недавно видѣли, что образованность купеческаго семейства не спасла его отъ изгнанія съ благороднаго бала. Всѣмъ извѣстно, что самый образованный купецъ подвергается со стороны какихъ-нибудь Сквозниковъ-Дмухановскихъ тѣмъ-же самымъ оскорбленіямъ, какъ Абдуловы и подобные имъ аршинники и самоварники. Давно-ли еще въ самомъ литературномъ мірѣ, который такъ гордится своимъ образованіемъ и гуманностью, упрекали Полеваго въ томъ именно, что онъ былъ купецъ — и въ

кругу самыхъ благодушныхъ литераторовъ ходили эпиграммы съ пошлыми намеками на его происхожденіе. Нѣтъ, мы убѣждены, что одно образованіе отдѣльныхъ лицъ не прекратитъ этого дѣйствительно смѣшнаго обычая перехода въ другое сословіе, какъ не прекратили его насмѣшки и карикатуры. Печальная сторона этого быта сгладится тогда только, когда въ немъ самомъ исчезнутъ корни, отъ которыхъ это зло плодится и растетъ.

Когда наше купечество, вмѣстѣ съ развитіемъ у насъ образованія, пойметъ наконецъ всю пользу и выгоду его, тогда безъ-сомнѣнія совершится и улучшеніе его общественнаго быта, тогда съ уваженіемъ будутъ смотрѣть на него люди другихъ сословій; тогда только и купецъ не будетъ искать для своей дочери одного дворянскаго титула или блестящихъ эполетъ, и сама купеческая дочка начнетъ вглядываться, есть-ли человѣкъ подъ этимъ красивымъ мундиромъ. А съ улучшеніемъ быта и нравовъ нашего провинціальнаго духовенства, конечно и сынъ причетника не съ такой забавной гордостью падѣнетъ вицмундиръ съ свѣтлыми пуговицами, и вся семья его не будетъ думать, что первое примѣриванье этого наряда составляетъ праздникъ праздниковъ и торжество изъ торжествъ.

До-тѣхъ-поръ этимъ бѣднымъ людямъ позволительно искать спасенія въ шпорахъ и вицмундирахъ, — и если купеческая дочка видитъ въ густыхъ эполетахъ залогъ своего счастья, въ княжескомъ титулѣ удовлетвореніе самолюбія, если семинаристъ смотритъ на бархатный воротникъ, какъ на источникъ будущаго благополучія—то это, какъ мы сказали, не только понятно, но даже извинительно. Пусть-же литература рисуетъ намъ эти жалкіе типы въ сатирѣ, пусть карандашъ и кисть осмѣиваютъ ихъ въ карикатурѣ — мы будемъ смѣяться, но такъ, какъ научили

насъ Гоголь и Островскій, то-есть смѣяться въ лицѣ этихъ людей надъ тѣмъ, что ихъ создало и воспитало, надъ тѣмъ, что скрывается за этими грустно-комическими образами и что на-самомъ-дѣлѣ должно нести на себѣ и нашъ смѣхъ и наше негодованіе.

---

## ПОЭТЪ СЛАВЯНИЗМА.

(Стихотворенія Хомякова).

Въ нашей литературѣ, какъ и во всѣхъ живыхъ литературахъ, одни поэты стоятъ внѣ общественныхъ кружковъ и даже нерѣдко выражаютъ идеи началъ противоположныхъ, другіе родились и соврѣли въ исключительныхъ воззрѣніяхъ одной какой-нибудь партіи и служатъ ея представителями въ искусствѣ. Первые берутъ свои идеалы въ общемъ источникѣ человѣческой природы, хотя и оживляютъ ихъ дыханіемъ своего вѣка и общества, вторые все черпаютъ изъ одной какой-нибудь жилы современной жизни. Такъ Майковъ, оставаясь вѣрнымъ своему вѣку, не подчиняется никакому исключительному воззрѣнію, такъ Некрасовъ — представитель только одной современной котеріи. Мы не думаемъ сказать этимъ, чтобы Майковъ смотрѣлъ безстрастно на жизнь и не имѣлъ своего собственнаго воззрѣнія, своей опредѣленной общественной и соціальной идеи, а хотимъ только замѣтить, что онъ почерпаетъ для нея содержаніе изъ всей широты об-

щественной жизни, изъ всѣхъ источниковъ обще-человѣческой мысли. Съ другой стороны, Некрасовъ беретъ содержаніе для своихъ стиховъ только въ кругу одного воззрѣнія, смотритъ на жизнь взглядомъ одной партіи, вполне замкнуть въ идеяхъ одного литературнаго кружка.

Въ самомъ дѣлѣ, взгляните въ смыслъ идей той изъ нашихъ литературныхъ котерій, которую обыкновенно называютъ крайней западной, поймите ея взглядъ на смыслъ европейской жизни и степень вліянія на наше общество, разгадайте наконецъ всѣ ея *ria desideria*—и вы ясно увидите, что Некрасовъ по самой односторонности его—полнѣйшій представитель ея идей и воззрѣній. Въ его, очень рѣдко поэтическихъ, но всегда характерныхъ стихахъ выразилось все содержаніе этой западной партіи, воплотилось все, что она постоянно развивала въ сочиненіяхъ самыхъ разнообразныхъ. Точно такъ-же, по нашему мнѣнію, Хомяковъ можетъ быть названъ представителемъ и пѣвцомъ другой литературной фракціи, которая извѣстна у насъ подъ неточнымъ, но давно уже утвердившимся именемъ славянофиловъ и которая отличается своимъ самобытнымъ воззрѣніемъ въ вопросахъ ученыхъ и литературныхъ, политическихъ и соціальныхъ.

Въ настоящее время значеніе обѣихъ этихъ партій у насъ вполне опредѣлилось въ глазахъ всѣхъ мыслящихъ людей. Не принадлежа въ послѣдователямъ ни той, ни другой, мы однако-же знаемъ теперь, что онѣ были вызваны въ нашей литературѣ естественнымъ ходомъ историческихъ судебъ нашего общества, что въ нихъ высказались его живыя силы и честныя стремленія, и что изъ борьбы ихъ возникло и прояснилось много идей о нашемъ прошломъ, настоящемъ и будущемъ. Ученая и литературная полемика этихъ партій ясно показала теперь, что идеаломъ

нашей будущей общественной жизни не можетъ быть ни старая допетровская Россія, съ ея ветхими основами и мертващими порядками, ни современная Европа, съ тѣми социальными формами, какія выработаны въ ней феодализмомъ и католичествомъ. Теперь понятно, что въ старой русской жизни были свѣтлыя начала, возникшія изъ нашего народнаго характера, изъ которыхъ одни отжили или заглушены насильственно, а другія еще таятся подъ тяжелымъ наносомъ и могутъ дать отпрыски въ будущемъ; теперь ясно и то, что въ Европѣ, не смотря на ея пролетаріатъ и пауперизмъ, остается еще много прекраснаго, что мы должны внести въ нашу жизнь и развить на нашей почвѣ. Значеніе петровской реформы все болѣе проясняется, и теперь люди, не ослѣпленные крайностью убѣжденій, перестаютъ уже видѣть въ этой эпохѣ предметъ безусловнаго поклоненія или упорно-застарѣлой ненависти и сознаютъ, что въ личности Петра и въ его дѣятельности были какъ темныя, такъ и свѣтлыя стороны. Все это, повторяемъ, сдѣлалось въ наше время убѣжденіемъ всѣхъ свѣтлыхъ людей и мало-по-малу входитъ и въ общественное убѣжденіе. Мысль о примиреніи крайнихъ партій, западной и восточной, начинаетъ проникать въ общество.

Но хотя обѣ литературныя партіи, о которыхъ мы говоримъ, отжили окончательно свое время и теперь повторяютъ только задѣ, безъ всякаго нравственнаго вліянія на общество, однако заслуги ихъ въ дѣлѣ развитія нашей общественной мысли несомнѣнны и достойны доброй памяти со стороны всякаго добросовѣстнаго человѣка. Онѣ способствовали разъясненію нашей исторической жизни, отношеній нашего общества къ западной Европѣ и къ нашимъ кореннымъ народнымъ силамъ; онѣ твердо и энергически высказывали свои убѣжденія, не смотря на тѣсноту арены

для подобной борьбы, не смотря на невѣрные шаги и удары, какіе приводилось имъ дѣлать. Потомство оцѣнитъ настойчивую энергію и неистощимое искусство этихъ бойцовъ. Не касаясь дѣятельности западной партіи, мы остановимся только на партіи славянской, которой въ недавнее время суждено было потерять нѣсколько лучшихъ представителей.

Свѣтлая сторона славянофиловъ теперь очевидна. Партія эта постоянно поддерживала у насъ идеи родства русскаго народа съ другими славянскими племенами, отторгнутыми отъ общей семьи и затерянными въ массѣ завоевателей на югѣ и западѣ. И понятно, какъ важенъ этотъ вопросъ при томъ стремленіи умовъ къ племенному объединенію народностей, какое въ послѣднее время обнаружилось во всей Европѣ и заставляетъ предвидѣть новую будущность для народовъ. Эта идея племеннаго славянскаго единства, хотя и въ исключительной формѣ церковнаго родства, постоянно жила въ славянофильской партіи, которая такимъ-образомъ служила у насъ представительницей панславизма. Въ области философіи славянская партія вдалась также въ односторонность, требуя національной науки въ какихъ-то исключительныхъ формахъ и въ такое время, когда еще ни по количеству грамотной массы, ни по степени ученаго развитія, не настала въ этомъ отношеніи пора; но при-всемъ-томъ нельзя не согласиться, что ея энергическая полемика принесла пользу, обращая ученыхъ къ разработкѣ элементовъ нашей собственной жизни. Въ юридически - общественныхъ вопросахъ славянисты твердо стояли за общинное начало, и прикасаясь въ этомъ отношеніи къ лучшей части западной партіи, отличались отъ нея тѣмъ, что не смотрѣли на общину съ чуждой намъ точки зрѣнія западныхъ мыслителей и экономистовъ, а отыскивали корни общиннаго устройства въ самомъ духѣ



славянского характера, въ самыхъ основахъ нашей народной жизни. Наконецъ, когда правительство вызвало литературу къ обсужденію крестьянскаго вопроса, славянская партія высказала самыя симпатичныя, благородныя идеи о поземельномъ надѣлѣ и общинномъ владѣніи—и потомство оцѣнитъ ея прекрасную роль въ этомъ дѣлѣ.

Но объ руку съ этими свѣтлыми идеями у славянофиловъ встрѣчались мнѣнія, которыя не привлекали къ нимъ людей прогрессивныхъ. Въ числѣ парадоксальныхъ убѣжденій этой партіи всего памянѣе постоянная мысль ея важнѣйшихъ представителей о гниломъ состояніи запада. Что подобная идея могла явиться у страстнаго мыслителя въ эпоху европейской реакціи, и онъ подобно пловцу, выброшенному послѣ бури на дикій берегъ, въ отчаяніи проклипалъ старое общество,—это понятно. Всматриваясь «съ того берега» въ чудовищное развитіе западнаго пауперизма, въ гнетущую силу торговыхъ и промышленныхъ монополій, въ безвыходное положеніе массы отъ ненормальнаго распредѣленія поземельной собственности, и вникая въ смыслъ новѣйшихъ политико-соціальныхъ ученій, вызванныхъ на западѣ отсутствіемъ общины—дѣйствительно нельзя не задуматься о будущности европейскаго общества. Но развѣ изъ этого слѣдуетъ, что все это общество гніетъ и разрушается въ своемъ составѣ? Развѣ можно назвать гнилымъ край, который въ наше время блещетъ всѣмъ свѣтомъ науки, кипитъ промышленной и торговой дѣятельностью, безпрестанно даритъ міръ великими открытіями, въ рукахъ котораго сила, власть, богатство, всѣ сокровища жизни, мысли и слова? Можно-ли назвать гнилымъ этотъ западъ, перерѣзанный вдоль и поперекъ желѣзными дорогами, наполненный учеными обществами и учебными заведеніями, далеко разносящими плоды знанія и цивилизаціи?

Неужели гнилая страна может давать законы міру, управлять его интересами? Нѣтъ, этотъ западъ еще далекъ отъ разрушенія, и если въ его общественномъ бытѣ есть болѣнныя стороны, то съ другой стороны мы еще чувствуемъ на себѣ силу его здоровыхъ рукъ и здороваго ума и не можемъ думать, чтобы самыя язвы его были неизлечимы.

Въ чемъ-же видѣли славянофилы выходъ изъ того болѣннаго состоянія, въ какомъ по ихъ мнѣнію ветшаетъ и разрушается западъ? — въ наукѣ, въ успѣхахъ жизни, въ гарантіи человѣка отъ пролетаріата, въ развитіи общиннаго порядка, въ очищеніи нравовъ? Не совсѣмъ! Главнымъ источникомъ спасенія они считали какое-то смиреніе, основанное на философски-нравственномъ приниженіи личности, на коленопреклоненномъ сознаніи несовершенствъ, на общенародномъ историческомъ покаяніи. Это родъ какого-то постоянного оплакиванія условныхъ грѣховъ, вѣчнаго посыпанія головы траурнымъ пепломъ. И по мнѣнію славянской партіи, одно только русское общество близко къ этому идеалу поголовнаго смиренія, чуждо гордости и народнаго самолюбія, благодушно сознается въ своихъ порокахъ, не любитъ звонить о своихъ доблестяхъ, умѣетъ смѣло владать пальцемъ въ свои раны и открыто говорить о своихъ язвахъ... Но такъ-ли это? Вѣдь Англія, на примѣръ, при всѣхъ правахъ на гордость, не всякій день кричитъ, что готова всѣхъ закидать шапками, и не всегда величаетъ себя избранной націей, назначенной для очищенія и просвѣтленія человѣчества, хотя черезъ безчисленныя колоніи она разливаетъ на весь міръ цивилизацію. И наконецъ, развѣ въ самомъ желаніи поставить себя на какой-то исключительный пьедесталъ народнаго смиренія — не видать высшаго проявленія гордости? А между-тѣмъ эта оригинальная «гордость смиренія» выражается постоянно во всемъ

ученіи славянской партіи. Если крайніе западники, въ своемъ увлеченіи европеизмомъ и рабскомъ поклоненіи западу, доходили иногда до отрицанія почти всего свѣтлаго въ нашемъ народномъ характерѣ; то и славянофилы точно также, въ отрицаніи западнаго вліянія и восхищеніи всѣми старыми, хотя-бы отжившими основами допетровской жизни, оканчивали полнымъ униженіемъ Европы и гордымъ самовосхваленіемъ. Все это отразилось и въ наукѣ, и въ поэзіи.

Въ числѣ поэтовъ славянской партіи было не мало людей даровитыхъ, но первое мѣсто между ними, если не по таланту, то по болѣе обозначенному направленію идей и вѣрованій, принадлежитъ Хомякову. Это самый полный представитель ея убѣжденій и надеждъ, настоящій пѣвецъ славянства, во всемъ значеніи этого слова. Въ немъ выразились вполнѣ и свѣтлыя, и темныя стороны этой замѣчательной партіи. Не касаясь теперь ни философскихъ, ни историческихъ трудовъ Хомякова, мы говоримъ только объ однихъ его лирическихъ произведеніяхъ.

Читая книжку его стихотвореній, прежде всего видишь въ нихъ постоянное чувство общеславянской любви, въ лучшемъ ея значеніи. Это поэтъ панславизма, проповѣдующій братство славянскихъ племенъ и глубоко вѣрующій въ ихъ жизненную силу и будущее призваніе. Въ продолженіе многихъ лѣтъ онъ неутомимо преслѣдуетъ идею возрожденія славянскаго міра, призваннаго по его мнѣнію на великую роль въ жизни человѣчества, но разъединеннаго чуждымъ вліяніемъ и собственной племенной враждою. И въ стихахъ Хомякова выражается постоянно мысль, что эти племена рано или поздно сольются въ общемъ семейномъ союзѣ, какъ «родныя братья, дѣти матери одной». Самые теплыя лирическія пѣсни его посвящены этому сла-

вянскому братству: таковы его стихотворенія: «Ода», «Орель», «Кіевъ», «Не гордись передъ Бѣлградомъ», «Вставайте, очовы распались». Во всѣхъ этихъ пьесахъ слышится поэтический призывъ славянъ къ новой жизни, видны лирическіе мотивы на одно и то-же воззваніе:

Вставайте, славянскіе братья,  
Болгаринъ, и сербъ, и хорваты!  
Скорѣ другъ къ другу въ объятья,  
Скорѣй за отцовскій булатъ!

И вѣра въ будущее возрожденіе славянскихъ племенъ и въ близкую возможность эпохи, когда всѣ «славянскіе ручьи сольются въ общемъ морѣ» — никогда не оставляла Хомякова. Разсматривая стихотворенія его въ хронологическомъ порядкѣ, легко видѣть, что въ продолженіе тридцати лѣтъ его не покидала мысль о близкомъ пробужденіи славянскихъ орловъ. Въ 1832 году онъ говорилъ:

Ихъ часъ придетъ! окрѣпнуть крылья,  
Младые когти подростутъ,  
Вскричатъ орлы — и цѣль насилья  
Желѣзнымъ клювомъ расклюютъ!

И чѣмъ далѣе, тѣмъ больше эта идея въ немъ крѣпнеть, становится его любимой надеждой и утѣшеніемъ. Въ 1853 году онъ пишетъ:

Какъ ярки и радости полны  
Свѣтила грядущихъ вѣковъ!...  
Вскипите-жъ, славянскія волны!  
Проснитесь, гнѣзды орловъ!

Въ этомъ дѣлѣ обновленія общеславянскаго міра и сліанія всѣхъ племенъ его въ одну семью, Хомяковъ даетъ главную и капиталную роль Россіи. Въ ней должны, по его мнѣнію, слиться какъ въ морѣ всѣ струи славянскихъ народностей. Въ ея груди, по выраженію поэта, «есть свѣ-

тлый ключъ», въ которому съ духовной жаждой соберутся народы». Къ Россіи не разъ обращается онъ съ призывомъ на этотъ подвигъ, который она должна совершить на славу всего славянскаго міра и для пользы человѣчества. Онъ говоритъ:

Тебя призвалъ на брань святую,  
Тебя Господь нашъ полюбилъ,  
Тебѣ далъ силу роковую,  
Да сокрушишь ты волю злую  
Слѣпыхъ, безумныхъ, буйныхъ силъ...  
Иди! тебя зовутъ народы!  
И совершивъ свой бранный пиръ,  
Даруй имъ даръ святой свободы,  
Дай мысли жизнь, дай жизни миръ!

И для выполненія этого призванія, по идеѣ Хомякова, нужны не сила и оружіе, а правда и духовное единство любви. Русскій народъ долженъ, по его словамъ, отрѣшиться отъ своего вѣковаго историческаго самообольщенія, отъ духа вражды и апатіи, долженъ «омыть себя водою покаянія и съ душою колѣнопреклоненной исцѣлить елеемъ плача раны растлѣнной совѣсти». Задача, какъ видно, довольно не легкая! Но пѣвецъ славянизма увѣряетъ, что не смотря на всякія гражданскія язвы, въ одномъ нашемъ обществѣ таятся теплыя силы международной любви, что только у насъ есть духовное начало, которому суждено обновить міръ новой жизнію. И онъ неизмѣнно вѣритъ, что настанетъ время, когда всѣ эти тайныя силы вырвутся наружу живымъ и неизсякаемымъ потокомъ.

Изъ этого понятно, что Хомяковъ былъ поэтъ славянскаго единства, проповѣдникъ международной любви, и въ этой идеѣ онъ почерпалъ несомнѣнную силу образовъ и красокъ. Людей, незнакомыхъ съ славянофильствомъ, можетъ поразить въ его стихахъ что-то недосказанное въ

отношеніи высокой роли Россіи къ обновленію человѣчества. Въ идеяхъ поэта иные, пожалуй, увидать противорѣчіе: въ однихъ стихотвореніяхъ краски, которыми поэтъ рисуетъ свою избранницу, слишкомъ мрачны и напоминаютъ обличенія пороковъ, громившихъ заблудшійся народъ. Вотъ какъ онъ обращается къ Россіи:

Въ судахъ черна неправдой черной  
И нгомъ рабства клеймена;  
Безбожной лести, лжи гнетворной,  
И гнѣи мертвой и позорной,  
И всякой мерзости полна!

Въ другомъ стихотвореніи, посвященномъ тоже «Россіи», говоря о непрочности славы и богатства, Хомяковъ высказываетъ, что ей суждено:

Хранить для міра достоянье  
Высокихъ жертвъ и чистыхъ дѣлъ;  
Хранить племень святое братство,  
Любви живительный сосудъ,  
И вѣры пламенной богатство,  
И правду и безервный судъ.

Въ сущности тутъ нѣтъ противорѣчій. Хомяковъ выражаетъ ту идею, что въ народѣ таятся у насъ свѣжія, здоровыя силы, которыя при развитіи могутъ дать основы высокой жизни, правды и добра; но онѣ заглушены ходомъ историческихъ обстоятельствъ и наплывомъ чуждой цивилизаціи, насильственно навязанной русскому обществу. Въ этой-то мысли скрывается, по нашему мнѣнію, разгадка того, что поэзія Хомякова, какъ и вообще мысль всей славянофильской партіи, то обращается въ какую-то смиренно-покаянную литанію, въ какое-то экспіативное приниженіе личности, то переходитъ въ гордость избраннаго народа, считающаго себя единственнымъ сосудомъ, въ которомъ таятся всѣ доблести, всѣ духовныя сокровища, всѣ надежды человѣчества на будущее счастье.

Отсюда возникаетъ у него и неизбежный переходъ къ мысли о гниломъ западѣ и близкой его гибели. По мнѣнію Хомякова, западъ отжилъ и едва дышетъ въ послѣднихъ судорогахъ предсмертной агоніи; вся блестящая эпоха его могущества, славы, науки и искусства минула и болѣе не воротится. Прочтите его стихотвореніе «Мечта», писанное въ 1834 году. Тутъ онъ говоритъ уже о западѣ, какъ о чемъ-то умершемъ, но только еще не погребенномъ, и ждетъ обновленія только отъ одного смиреннаго востока, хотя «полнаго лѣпи и неправды», но таящаго въ себѣ «ключъ живой вѣры». Тономъ вѣщаго пророка онъ предсказываетъ Европѣ конечное разрушеніе. Читая стихи Хомякова, трепещешь за этотъ погибающій западъ и думаешь, что вотъ-вотъ онъ рухнетъ не сегодня такъ завтра. И самые пламенные громы этого славянскаго Іеремии направлены на Англію: это его Содомъ и Гоморра, которому онъ посылаетъ проклятія и укоризны, сожалѣнія и слезы. Вспомните его прекрасное стихотвореніе «Островъ»:

Дочь любимая природы,  
Всѣхъ богатая земля!  
Какъ кипятъ твои народы,  
Какъ двѣтуютъ твои поля!...  
Ты счастлива, ты богата,  
Ты роскошна, ты сильна...  
Но за то, что ты лукава,  
Но за то, что ты горда,  
Что тебѣ мірская слава  
Выше Божьяго суда;  
Но за то, что церковь Божью  
Святотатственной рукой  
Приковала ты къ подножью  
Власти суетной, земной:  
Для тебя, морей царица,  
День придетъ — и близокъ онъ —  
Блескъ твой, злато, багряница  
Все пройдетъ, минетъ какъ сонъ...

Пусть Англія опоясываетъ весь міръ своими колоніями, предписываетъ законы половинѣ Азіи, располагаетъ судьбами Европы, пускай вся она искрестится желѣзными дорогами и всякій годъ даритъ человѣчеству новыя изобрѣтенія, — все это ничего не значитъ. Ясновидящій поэтъ прозрѣлъ, что весь западъ гніетъ въ макабрской пляскѣ своей гордости,

И скрывъ въ груди предсмертный стонъ,  
Буетъ безсильныя крамолы,  
Дрожа надъ бездною, Альбіонъ

Все это ясно показываетъ, что Хомяковъ былъ истиннымъ представителемъ славянской партіи, что въ немъ отразились ея идеи со всею теплотою правды и всею рѣзкостью исключительности. Читая стихи его теперь, когда обѣ крайнія партіи западниковъ и славянофиловъ сошли въ историческій архивъ прошлаго, мы не можемъ не признать нѣкоторыхъ свѣтлыхъ идей и теплаго чувства въ поэтѣ славянства, но въ то - же время, не можемъ не указать на его заблужденія, странныя и парадоксальныя, хотя всегда искреннія и честныя.

Какъ поэтъ, Хомяковъ отличается своеобразнымъ направленіемъ: его стихъ всегда можно узнать по оригинальной и ярко обозначенной фizioноміи: въ немъ своя плоть и кровь, свой цвѣтъ и благоуханіе. Языкъ его не всегда точенъ и чистъ, но онъ вездѣ отличается какимъ-то широкимъ размахомъ и смѣлостью, переходящей даже въ какое-то богатырство; онъ, кажется, играетъ своею силой на показъ, изъ какого-то поэтическаго молодечества. Можно сказать, что карандашъ Хомякова, смѣло набрасывая рѣзкій очеркъ, прорѣзаетъ иногда самую бумагу. У него «земля *кадитъ* дыханьемъ подъ росой благоухающихъ цвѣтовъ», «кометы *бурныхъ* стѣжъ бродятъ въ высотѣ», «*вдохно-*



*венья сливаются въ яркиѣ радугахъ». Но въ то-же время у него есть стихотворенія, въ которыхъ сила и точность образовъ, правильность и строгость выраженія — вполне безукоризненны.*

Славянская партія, какъ мы говорили, существовала не напрасно и дѣйствовала честно: съ нею можно было не соглашаться, горячо спорить и энергически бороться, но во всякомъ случаѣ ей нельзя отказать въ уваженіи. Вотъ почему и стихи Хомякова не умрутъ въ нашей литературѣ, какъ живой памятникъ этой односторонней, но честной и полезной партіи.

---

**МЕРТВОЕ МОРЕ**

И

**ВЗБАЛАМУЧЕННОЕ МОРЕ.**

(Разборъ романа г. Писемскаго).

Аллегорическое заглавіе романа Писемскаго, въ которомъ онъ подъ видомъ взбаламученнаго моря хотѣлъ представить современное состояніе русскаго общества, даетъ поводъ и намъ начать отзывъ о немъ въ аллегорическомъ тонѣ.

Бываетъ въ житейскомъ морѣ пора тяжелаго затишья, когда общественная жизнь какъ-будто замираетъ, останавливается въ своемъ движеніи, представляетъ ничѣмъ невозмутимое мертвое море. И, приученный этимъ однообразіемъ, глазъ такъ присматривается къ неподвижной глади, что она не поражаетъ его, даже мало-по-малу начинаетъ нравиться своей тишиною, какъ нравится тишина уединеннаго, повинутаго кладбища. Не плещутъ въ этомъ стоячемъ морѣ тревожныя волны, не бѣдствуютъ на нихъ смѣлыя и неосторожныя суда; все на его гладкой поверхности

и въ самомъ воздухѣ дышетъ невозмутимымъ спокойствіемъ. Но что дѣлается въ это время подъ его тихой, неколеблющейся скатертью? Тамъ, въ невидимой глубинѣ, скопляются замирающія поросли, улегаются на дно живые элементы; все, что было въ немъ жизненнаго, разлагается и тлѣетъ. И чѣмъ дольше стоитъ въ своей тишинѣ это мертвое море, чѣмъ дольше не взбаламутится оно вѣтромъ или бурей, тѣмъ болѣе гибнетъ въ немъ жизни, накопляется тлѣющихъ организмовъ, тѣмъ болѣе испаряется и улетучивается изъ него свѣжей жизненной влаги. Неподвижное море, не волнуемое вѣтромъ жизни, мало-по-малу зарастаетъ, плѣснѣетъ.

Но вотъ, къ счастью, поднимается свѣжій вѣтеръ, колеблетъ и расшатываетъ мертвое море. Просыпаются его неподвижныя воды и ходять по его поверхности безпокойными волнами; встаетъ со дна, улежавшаяся въ теченіе многихъ лѣтъ тина и гниль, и высоко поднимаются ѣдкіе міазмы. Взбаламученное море выбрасываетъ наверхъ все, что накопилось въ его глубинахъ въ нору мертваго застоя. Поднимаются и истлѣвшіе остатки организмовъ, и тяжелыя испаренія отъ устоявшейся гнили; поднимаются и драгоценности, лежавшія на днѣ его, подъ слоями накопившейся тины. И не въ первый разъ мы видимъ въ исторіи человѣчества картину взбаламученнаго моря жизни. Тяжело смотрѣть, какъ при напорѣ вѣтра встаютъ на немъ мутныя волны и выкидываютъ на поверхность поднятую изъ глубины грязную тину; но вы радуетесь въ то-же время, что наконецъ всколебался застой, на мертвой досихъ-поръ скатерти пахнуло дыханіемъ жизни, и передъ вашими глазами выкидываетъ со дна то дорогой кораллъ, то жемчужную раковину, какихъ вы давно уже не находили на берегахъ этой мертвой глади. И вы не отворачи-

ваетесь отъ этой картины, не проклинаете вѣтра, взбаламудившаго море. Вы видите въ этомъ явленіе естественное, даже необходимое, знаете, что эта муть порождена долгимъ затишьемъ, что вѣтеръ размететъ тину, очиститъ воду, освѣжитъ воздухъ—и оживится море присутствіемъ человека, и рыбакъ броситъ въ него свои сѣти, и заблѣютъ на немъ паруса кораблей.

Если море, съ его тихой и свѣтлой лазурью или съ грозными всплесками бурныхъ волнъ, можетъ быть предметомъ картины, то почему-же художнику не представить и взбаламученнаго моря, съ его мутною тиной и грязной пѣною? Рюисдалъ умѣлъ-же сдѣлать живописнымъ и поэтическимъ гніющее болото, Айвазовскій—дикій, чудовищный хаосъ. Дѣло въ томъ только, чтобъ художникъ, какъ въ свѣтломъ пейзажѣ голубыхъ водъ, такъ и въ темной картинѣ помутившагося моря, умѣлъ найти слѣдъ какой-нибудь жизни, выразить живую мысль и вѣчную истину. А это зависитъ оттого, какъ художникъ отнесется къ своему предмету, съ какой мыслью и въ какую минуту онъ на него взглянетъ. Нелегко писать картину взбаламученнаго моря, когда оно еще кипитъ своей мутью, когда въ немъ не улеглась поднятая вѣтромъ грязь, когда глазу еще трудно въ массахъ тины различить жемчугъ и золото. Тутъ художнику необходимо отрѣшиться отъ тяжелаго впечатлѣнія перваго момента, взглянуть на предметъ не какъ случайному зрителю, котораго мутныя волны задѣли своими брызгами, а какъ спокойному созерцателю одного изъ естественныхъ и необходимыхъ явленій въ природѣ. При такомъ только взглядѣ на жизненное явленіе художникъ въ состояніи будетъ дать намъ вѣрную и свѣтлую картину, а не темный образъ, писанный кистью, обмакнутой въ томъ-же мутномъ источникѣ.

Ничто такъ не занимаетъ у насъ въ настоящее время мыслящаго человѣка, какъ характеръ современнаго общества и особенно нашего молодого поколѣнія. Всякій, кому дорога будущность отечества, кто съ участіемъ смотритъ на его обновляющуюся жизнь, сочувствуетъ ея современному движенію, не можетъ не видѣть темныхъ сторонъ этого поколѣнія, на которое мы возлагали столько упованій. Но тутъ является вопросъ: имѣемъ-ли мы право судить это молодое поколѣніе, не являясь и сами подсудимыми, на одной скамьѣ съ нимъ? Не обязаны-ли мы подумать: при какихъ обстоятельствахъ оно выросло и воспиталось, чему оно училось и къ чему прислушивалось, кто былъ его руководителемъ въ дѣлѣ науки и убѣжденій, кто приучилъ его къ дѣльному труду, къ солидной мысли, кто показалъ ему идеалы въ жизни и наукѣ—словомъ, какую подготовку дало наше старое поколѣніе молодому? Положа руку на сердце, всякій долженъ сознаться, что въ тѣ годы, когда воспитывалось наше новое поколѣніе, мы сами, въ своемъ мертвомъ морѣ, были незavidными педагогами. Послѣ стародавней механической рутины, когда наши головы забивали тупымъ заучиваньемъ сухихъ и мертвыхъ учебниковъ, мы бросились въ такъ-называемое развитіе и, переливая изъ одной крайности въ другую, начали разжевывать дѣтямъ въ мелкую жвачку самые обыкновенные научные предметы, и тѣмъ отучили ихъ отъ всякой самостоятельности. Въ видахъ ускореннаго развитія нашего юношества, мы приучали молодой умъ ходить вѣчно на помочахъ, убивали въ немъ всякую возможность самостоятельнаго труда. Воспитательныя реформы вскружили намъ голову: въ учебныхъ заведеніяхъ шла постоянная ломка курсовъ—то вводили древніе языки, то замѣняли ихъ законовѣдѣніемъ, то на мѣсто его ставили естественныя нау-

ки. Каждый начальник и полуначальник заведения сталъ радикальнымъ преобразователемъ, хазяйничалъ съ наукой и воспитаніемъ по личному вкусу и наклонностямъ: ничему не давали утвердиться въ почвѣ; едва вводили какую-нибудь систему, какъ сейчасъ-же требовали отъ нея питательныхъ плодовъ, и если они не выросли на другой-же день, то вырывали посаженное съ корнемъ и садили на мѣсто его другое. Никто не думалъ, что наука требуетъ покоя и терпѣнія. Мудрено-ли послѣ этого, что у насъ дошли до сомнѣнія, есть-ли какая-нибудь наука и въ Европѣ? И вотъ мы начали трактовать свысока о самыхъ прочныхъ и вліятельныхъ иностранныхъ заведенияхъ, презрительно отзываться о заграничныхъ университетахъ, смѣяться надъ изученіемъ древнихъ языковъ, отдѣлываться первоклассныхъ ученыхъ. Пролетая въ лѣтнія каникулы по желѣзнымъ дорогамъ черезъ Лейпцигъ и Гейдельбергъ, наши воспитатели и наставники съ важностью сообщали намъ свои критическіе взгляды на состояніе науки и преподаванія въ Германіи; перелистывая мимоходомъ купленные руководства, самонадѣянно толковали намъ о педантизмѣ и сухости прославленныхъ европейскихъ ученыхъ. Все это, изволите видѣть, старье, схоластика! Понятно, какъ должно было воспитаться при этомъ наше молодое поколѣніе. Приученное нами къ верхоглядству и пренебреженію солидныхъ знаній, оно не думало о серьезномъ трудѣ, а бросилось на послѣдніе результаты, выработанные европейской исторіей, и стало примѣнять ихъ, не оглядываясь, къ своей жизни. Кто-же виноватъ въ этомъ, какъ не наше старое поколѣніе?

Но дѣйствительно-ли въ нашей молодежи однѣ эти темныя стороны? Неужели въ этомъ поколѣніи, испорченномъ нашимъ жалкимъ и необдуманымъ воспитаніемъ, не

осталось ничего здороваго? неужели мы успѣли заглушить въ немъ всѣ свѣжія силы, подавить всѣ добрыя природныя начала? Мы увѣрены, что самые упорные пессимисты и гонители молодого поколѣнія не отвѣтятъ на это утвердительно и согласятся, что наше въбаламученное море выбрасываетъ не одну гнилую тину. Кто среди мелочей, пустоты и верхоглядства не замѣтитъ въ молодомъ поколѣніи и свѣтлыхъ сторонъ? Важно уже то, что оно отрѣшилось отъ застоя и неподвижности, что въ немъ пробудилась, хоть и бессознательная потребность дѣятельности, что оно ищетъ новыхъ идеаловъ. Конечно, далеко еще отъ этихъ неопредѣленныхъ порывовъ до серьезнаго и разумнаго труда, но все-же это не упорный застой мертваго моря. Наша молодежь, по естественному ходу вещей, увлекаясь разными чужими доктринами, отъ серьезнаго занятія наукой бросалась въ дешевое щегольство готовыми идеями, тратила силы на борьбу ненужную и безплодную; но зато она отвернулась отъ картъ, распутства, показала участіе къ предметамъ заслуживающимъ уваженіе. Имѣемъ-ли мы право бросить камень въ наше молодое поколѣніе за то, что оно не выросло у насъ какимъ-то идеаломъ?...

Мысль представить въ литературномъ произведеніи характеристику настоящаго общества, въ двухъ поколѣніяхъ отцовъ и дѣтей, заняла уже художника, который у насъ прежде другихъ умѣетъ отзываться на всѣ насущные вопросы жизни. Въ двухъ романахъ Тургеневъ художнически отозвался на эту современную мысль, воплощая ее въ живыя лица. Въ Еленѣ Стаховой и Базаровѣ показалъ онъ представителей молодого поколѣнія, въ томъ проявленіи нашей жизни, которое онъ называлъ опошленнымъ теперь именемъ «нигилизма». Въ одной это направленіе тайлось еще въ зародышѣ, въ другомъ оно проявилось въ полномъ развитіи. Оба

эти лица—живые типы нашего современного поколѣнія, въ томъ именно смыслѣ, какъ понимается типъ въ искусствѣ, то-есть, какъ художественное сліяніе всѣхъ частныхъ опредѣленнаго характера въ одну цѣльную и живую личность. И Тургеневъ отнесся къ молодому поколѣнію не какъ раздраженный памфлетистъ, съ предвзятой мыслью выставить однѣ темныя стороны современнаго движенія, но какъ художникъ, спокойно созерцающій жизнь, со всѣми ея разносторонними явленіями, со всей игрою тѣни и свѣта. Его лица—не выпуклыя фигуры, спитыя изъ однѣхъ темныхъ страстей для того, чтобъ показать въ карикатурѣ общество, а живые образы, взятые изъ этого общества во всей ихъ индивидуальной цѣлости. Вотъ почему романы Тургенева долго не забудутся. Молодежь, конечно, не была довольна несовсѣмъ лестнымъ для нея типомъ Базарова, но и она не могла сказать, чтобъ авторъ оклеветалъ ее въ лицѣ этого нигилиста. Тургеневъ, показывая въ Базаровѣ темныя стороны новаго поколѣнія, не скрылъ и его здоровыхъ силъ; вы могли не сочувствовать этому лицу, но не могли и не чувствовать къ нему уваженія. Относясь симпатически къ отцамъ за ихъ мягкость и сердечность, нашъ романистъ не выставилъ дѣтей къ позорному столбу за ихъ недостатки, въ которыхъ были виноваты отцы; онъ только давалъ намъ опозитизированную картину новаго общества. Съ художественнымъ тактомъ, задумывая романъ во время полное событій, Тургеневъ не привязалъ своихъ лицъ къ интересамъ текущаго дня, зная, что взглядъ на настоящій моментъ не можетъ быть правиленъ, пока время своимъ неподкупнымъ ходомъ не обрисуетъ его въ истинномъ значеніи и свѣтѣ. Не старческая привязанность къ прошлому внушила романисту нѣкоторую симпатію къ отцамъ, не раздражительное



педовольство настоящимъ водило его вистью, когда онъ писалъ портреты ихъ дѣтей. Истинный художникъ не сердится на дѣйствительность—онъ ее живописуетъ.

Теперь спросимъ всѣхъ, кто читалъ «Взбаламученное Море» Писемскаго—а его, безъ сомнѣнія, прочла уже вся наша читающая публика—такъ-ли задуманъ и выполненъ этотъ романъ, какъ задумываются и выполняются произведенія истинно-художественныя, и можемъ-ли мы поставить его наряду съ романами Тургенева, о которыхъ сейчасъ говорили?

Идея «Взбаламученнаго Моря», какъ опредѣляетъ категорически самъ авторъ въ концѣ сочиненія—представить картину нашего современнаго общества въ темныхъ явленіяхъ недавно-минувшихъ событій. «Если въ ней, говоритъ Писемскій, не отразилась вся Россія, зато *тщательно собрана* вся ея ложь... Пусть насъ уличать, что мы наклеветали на дѣйствительность». Не думая вовсе обвинять автора въ такомъ ужасномъ намѣреніи, мы рѣшаемся однакожь взглянуть безъ предубѣжденія на картину этой лжи и опредѣлить, дѣйствительно-ли въ ней одна только правда.

Мы не принадлежимъ къ категоріи оптимистовъ, восхищающихся исполинскими шагами русскаго богатыря на пути общественнаго и гражданскаго развитія, о чемъ такъ много кричали у насъ въ послѣдніе годы; но въ то-же время мы не видимъ въ русскомъ обществѣ и той повальной, непроходимой грязи, на которой Писемскій поставилъ фундаментъ своего новаго романа. Неужели, спрашиваемъ мы, все наше общество можетъ быть собрано въ фокусъ того кружка, который расплывается у него по всей широкой поверхности его взбаламученнаго моря? Неужели все это общество выражается личностями грабителей Галки-

ныхъ, фарисеевъ Ливановыхъ и грязныхъ діогеновъ Іонъ-Циниковъ, вся наша молодежь состоитъ изъ Басардинныхъ, Петцоловыхъ, Софи Леневыхъ и Еленъ Базелейнъ? Неужели у насъ видны только, какъ увѣряетъ авторъ, разные господа, статскіе и военные, нелѣпыя которыхъ трудно что-нибудь и вообразить себѣ: «Въ головѣ положительно ничего! пусто! свистъ! Заберутся въ это пространство двѣтри модныхъ идейки... Что онѣ такое, откуда вытекаютъ? онѣ и знать этого не хотятъ, а претъ только въ одну сторону, какъ лошадь съ колеромъ, а другіе при этомъ еще и говорюны; точно мельницы, у которыхъ нѣтъ нужныхъ колесъ и есть лишнія: мелеть, стучить, а ничего не вымалываетъ». И это характеристика всего общества!... Конечно, кто не видалъ экземпляровъ такого рода въ послѣднее время! но неужели, спросимъ мы, художникъ можетъ изъ однихъ подобныхъ лицъ составить картину современной жизни, для выраженія заранѣе взятой идеи? Изъ кого-же, спрашивается, набиралась эта толпа людей, которая принимала живое участіе въ разрѣшеніи крестьянскаго вопроса, наполняла міровыя учрежденія такимъ количествомъ полезныхъ дѣятелей, на какое въ первое время не рассчитывало и само правительство? кто рукоплескалъ всѣмъ полезнымъ реформамъ нашего времени? въ комъ возбуждало теплое сочувствіе преобразование судопроизводства, отмена тѣлеснаго наказанія, новый университетскій уставъ, распространеніе грамотности, начало крестьянскаго самоуправления? Или радость всего русскаго общества была только модной маскою? Жаль, что Писемскій не довелъ дѣйствія своего романа до позднѣйшаго времени. Какъ взглянулъ-бы онъ на русскій народъ съ началомъ польскаго возстанія? Какъ обомель-бы онъ тотъ патріотизмъ, такой проснулся во всѣхъ слояхъ нашего общества, лишь

только дѣло дошло до настоящаго дѣла? Гдѣ теперь его взбаламученное море, и такъ-ли оно было мутно? Тотъ-ли это крестьянскій міръ отозвался въ тысячахъ адресовъ, который авторъ характеризовалъ, въ одномъ изъ эпизодовъ романа, какой-то толпою ничего не понимающихъ дѣтей? Откуда-же этотъ общерусскій патриотизмъ, этотъ единодушный ропотъ нации при первомъ оскорбленіи народнаго чувства? Еслибъ взбаламученное море дѣйствительно представляло одну сплошную массу тины, откуда взались-бы эти грозныя, но свѣтлыя волны, которыхъ ропотъ отозвался во всей Европѣ?

Нѣтъ, не общую картину нашего общества написалъ Писемскій въ своемъ романѣ, не спокойнымъ взглядомъ художника посмотрѣлъ онъ на современную жизнь, не въ свѣтлыя минуты творческаго созерцанія создавалъ онъ свои типы! Въ идеѣ и въ исполненіи его романа видны раздраженіе и испугъ. Помните-ли вы сцены при большомъ петербургскомъ пожарѣ? Перепуганные этой несчастной катастрофой, бѣдные люди совсѣмъ теряли голову, вѣрили самымъ несбыточнымъ недѣлостямъ, въ грязныхъ пятнахъ на заборахъ видѣли горючій составъ, готовый воспламениться при первомъ лучѣ солнца, въ каждомъ прохожемъ подозрѣвали зажигателя, за необдуманно-сказанное слово тащили къ расправѣ или расправлялись сами. При первомъ заревѣ, въ паническомъ страхѣ, поднимали они отчаянные крики, открывали настежь окна и выбрасывали изъ третьихъ и четвертыхъ этажей на мостовую мебель, посуду, книги, зеркала, фортепьяно. Такимъ точно испугомъ вѣетъ и отъ романа Писемскаго. Въ печальную минуту увлеченій нашей молодежи, при первомъ блескѣ искры, вспыхнувшей отъ нашей собственной неосторожности, авторъ преувеличилъ опасность и во всякомъ, въ сущности неопасномъ.

кружки готовы были видѣть общественныхъ зажигателей. Когда загорѣлся уголь чердака, ему показалось, что уже пылаетъ все зданіе, сверху до низу, во всю ширину фасада. И вотъ, съ испугомъ растерявшагося человѣка, которому кажется страннымъ и невѣроятнымъ, что отъ треснувшей печи, какъ только ее затопили, затлѣлся одинъ уголокъ, онъ готовъ выбрасывать за окно чуть-ли не все общественное хозяйство. Ему ужъ кажется, что и страховыя учрежденія, обезпечивающія нашу безопасность, должны лопнуть и отказать намъ въ помощи, при томъ опустошительномъ пожарѣ, который пылаетъ въ его испуганномъ воображеніи... Такимъ характеромъ отличается, по нашему мнѣнію, «Взбаламученное Море».

Понятно, что въ такомъ случаѣ романъ г. Писемскаго нельзя поставить наряду съ романами Тургенева. У того въ идеѣ, положеніяхъ и лицахъ слышится сердечность, которая возникаетъ изъ сочувствія къ обществу и его интересамъ. Какъ спокойный художникъ, взглянулъ Тургеневъ на нашу общественную жизнь, писалъ явленія ея настоящими красками, а не покрывалъ всю картину однимъ темнымъ цвѣтомъ. Безъ жолчи негодованія отнесся онъ къ отцамъ и дѣтямъ, къ старому и молодому поколѣніямъ, и оттого въ его сочиненіи мы находимъ картину, а не карикатуру эпохи. Въ романѣ-же Писемскаго видѣшь не художникъ, спокойно созерцающій общественную жизнь, а скорѣе раздраженный ея порицатель: въ отношеніи его къ обществу вѣетъ нескрываемое пристрастіе. Здѣсь художественная идея обратилась въ предвзятую мысль, картина въ обличительную сатиру, любовь выродилась въ развратъ, минутный недугъ въ повальную и хроническую заразу...

Впрочемъ, необходимо оговориться. Эта характеристика относится не ко всему роману г. Писемскаго въ одинаковой

степени: онъ распадается на двѣ половины, замѣтно отличныя по характеру и тону. Въ первыхъ частяхъ «Взбаламученнаго Моря» видны еще обыкновенныя условія творчества, не выдается еще предвзятая идея, не бьетъ въ глаза умышленная сатира на молодое поколѣніе. Начало романа даже заставляетъ ожидать художественнаго произведенія. Воспитаніе Надежды Павловны въ домѣ московскаго аристократа, ея возвращеніе въ деревню и семейная жизнь, молодость Софи и первые шаги ея въ жизни, студентскіе годы Бакланова и его первые подвиги въ провинціи—все это отличается несомнѣнной истиной и жизнью. Тутъ являются и лучшія лица повѣсти—страстная и сосредоточенная панна Казимира, добродушный поклонникъ Бакланова Венявинъ, наконецъ несравненный Викторъ Белардинъ, въ сценахъ съ матерью и теткой—одно изъ удачнѣйшихъ созданій Писемскаго. Правда, и здѣсь мѣстами вы предчувствуете, что авторъ обращается только къ грязной сторонѣ жизни: такъ онъ выводитъ московскихъ студентовъ въ трактиръ «Британіи» и въ скандалахъ при дебютѣ танцовщицы Андреяновой, а ни одной чертой не указываетъ на ту сторону университетской жизни, когда дѣйствовалъ кружокъ Грановскаго, когда московскія аудиторіи образовали толпу молодыхъ людей дѣятельныхъ и полезныхъ. При-всемъ-томъ, въ первой половинѣ романа намѣреніе показать одну грязь и пошлость было еще маскировано, и еслибы все сочиненіе кончилось въ томъ-же тонѣ, мы могли-бы назвать его если не художественнымъ, то довольно правдивымъ.

Но съ первой-же главы четвертой части характеръ романа замѣтно мѣняется. Изъ общей картины общественной жизни сочиненіе превращается въ обличительную сатиру, которая бьетъ исключительно въ послѣднія проявленія

жизни нашего молодого поколѣнія. Авторъ становится неумолимымъ Ювеналомъ молодежи: начинаются бурные всплески, неумолкающій приливъ и отливъ взбаламученнаго моря. Подъ вліяніемъ испуга, о которомъ мы говорили, романъ быстро теряетъ свой покойный, эпическій ходъ: дѣйствіе не развивается уже органически изъ самого себя, а увеличивается только отъ внѣшняго нароста случайныхъ положеній. Являются новыя, многочисленныя сцены только потому, что согласно программѣ автора ему нужно было отдѣлать откупщика, студента, акціонера, сотрудника журнала, русскаго путешественника за-границей, эманципированную барышню, недоучившагося офицера. Дальнѣйшія похождения Бакланова и Софи ведутъ уже не къ раскрытію человѣческаго сердца, не къ обрисовкѣ нашей общественной жизни, а только къ возможно-большему проявленію міазмовъ взбаламученнаго моря. Испугъ автора обнаруживается съ каждой частью яснѣе, съ каждой главой онъ больше находитъ въ обществѣ страшныхъ людей съ зажигательными спичками въ карманѣ. Картина расширяется. Авторъ могъ-бы, очевидно, вмѣсто трехъ написать еще тридцать частей, могъ-бы заставить своего героя овдовѣть, жениться на другой такъ-же неожиданно, какъ онъ женится на каменной Евправсіи, а отъ второй жены опять вступить въ новый бракъ. Впрочемъ, романъ и остается не конченнымъ, какъ-будто ждетъ продолженія. И намъ кажется, еслибы авторъ не поторопился печатать его въ журналѣ, то могъ-бы легко довести до самой послѣдней эпохи и дополнить панораму взбаламученнаго моря сценами на улицахъ Варшавы, въ лѣсахъ Бѣлоруссіи и Литвы... Любопытно, кто-бы изъ его лицъ превратился въ Пустовойтовыхъ и жандармовъ-вѣшателей—а подобныхъ превращеній на страницахъ «Взбаламученнаго Моря» немало.

Содержаніе романа г. Писемскаго опредѣлило и обусловило его изложеніе и тонъ. Если первая половина сочиненія отличается характеромъ обыкновеннаго современнаго романа, по обработкѣ многихъ сценъ и лицъ, то со второй половины оно принимаетъ характеръ фельетонный. Художественнаго развитія тутъ нѣтъ уже и слѣдовъ: сцены являются случайно, становятся отрывочными, можно сказать—газетными; рассказъ принимаетъ тревожный, лихорадочный тонъ, превращается въ какіе-то беллетрическіе афоризмы. Вновь появляющіяся лица—не только не характеры, даже не портреты, а небрежные эскизы, съ чертами неполными и угловатыми. Вы чувствуете, что романистъ, съ каждой новой сценою, все болѣе и болѣе теряетъ спойство, превращается въ публициста, въ газетнаго фельетониста, который слѣдитъ только за новостями текущаго дня, съ заранѣе взятой программой. Авторъ наконецъ обращается даже къ лиризму и вводитъ въ романъ самого себя. Сначала мы подумали, что при этомъ онъ дастъ намъ хоть одно лицо, въ которомъ выразилась-бы свѣтлая искра, долженствующая освѣтить мракъ взбаламученнаго моря необходимымъ въ художественномъ произведеніи идеаломъ. Но къ сожалѣнію, вся роль автора въ романѣ ограничилась однимъ только чтеніемъ «Старческаго грѣха» у мадамъ Лелевой.

Но говоря объ исполненіи романа г. Писемскаго, нельзя не сказать, что при характерѣ чисто-фельетонномъ, въ немъ есть одно важное достоинство, отличающее его отъ массы нашихъ журнальных романовъ и даже отъ другихъ, болѣе художественныхъ произведеній автора «Тысячи Душъ»: это постоянная занимательность, которая не только не слабѣетъ съ одностороннимъ развитіемъ дѣйствія, а напротивъ растетъ, чѣмъ болѣе романъ становится

фельетоннымъ. Вы не соглашаетесь съ воззрѣніемъ автора на нашу жизнь, видите, что онъ старается темной стороною только нѣкоторыхъ кружковъ охарактеризовать все наше общество, но вы не бросите романа и непременно дочтете его до конца. Это зависитъ съ одной стороны отъ разнообразія охваченныхъ имъ явленій и вопросовъ, которые хоть и рѣшаются односторонне, но все-таки сильно васъ занимаютъ, напоминая многое, чему вы были свидѣтелями въ послѣдніе годы; съ другой стороны занимательность эта происходитъ и отъ извѣстнаго таланта автора рисовать разнообразныя сцены, любопытныя положенія, отъ живаго разсказа и бойкаго разговора, отъ умѣнья группировать интересныя частности, которыя живо поддерживаютъ ваше вниманіе. Давно извѣстное, въ этомъ отношеніи, дарованіе Писемскаго нисколько не уменьшилось и въ новомъ его произведеніи. Мы находимъ даже, что это сочиненіе открываетъ въ авторѣ талантъ фельетоннаго романиста, который могъ-бы доставить нашей публикѣ бездну наслажденія на страницахъ ежедневныхъ газетъ, давая ей такіа-же современныя и легкія сцены, какими бывало мы любовались въ журнальныхъ романахъ Александра Дюма, Поля Феваля и др.

Мы закончимъ сравненіемъ. Можно-ли назвать картиной такую задачу художника, въ которой представлено взволнованное море, и на немъ ничего нѣтъ, кромѣ волнъ—ни клочка берега, ни островка, ни корабля, ни паруса лодки? Такое именно значеніе находимъ мы и въ романѣ Писемскаго. Въ немъ глазъ не встрѣчаетъ ничего, кромѣ массы волнъ, выкидывающихъ одни мутныя осадки долго застоявшагося мертваго моря,—а извѣстно, что подобное зрѣлище противорѣчитъ основнымъ требованіямъ искусства. Но намъ давно уже могли возразить: неужели мы не при-



знаемъ поэтому художественнаго значенія «Мертвыхъ Душъ»? Напротивъ, мы на нихъ-то и хотимъ окончательно указать въ подкрѣпленіе нашей мысли. Въ этомъ произведеніи художникъ даетъ картину не сплошь-грязнаго моря: тутъ вы чувствуете присутствіе человѣка въ невидимомъ, но ясномъ для васъ лицѣ самого автора, видите художественное созданіе, въ которомъ сквозитъ стоячую тину пошлости проступаетъ свѣтъ истины. Авторъ «Взбаламученнаго Моря», напротивъ, отнесся къ своимъ героямъ съ однимъ чувствомъ личнаго раздраженія на явленія современной жизни. Гоголь взялъ прежде всего дѣйствительную или выдуманную исторію о покупкѣ мертвыхъ душъ, и какъ художникъ, обставилъ ее живыми образами, въ которыхъ и воплотилась жизненная идея. Г. Писемскій задался напередъ мыслью отдѣлать наше молодое поколѣніе, и на эту предвзятую идею искусственно лѣпилъ сцены и лица, вставляя въ нихъ тѣ или другія черты съ исключительныхъ явленій. Въ грязной по обстановкѣ картинѣ Гоголя просвѣчиваетъ свѣтлый идеалъ въ воззрѣніи автора и отношеніи его къ своему созданію; у Писемскаго въ бѣльшей части лицъ и сценъ выразилась заранѣе накипѣвшая непріязнь къ естественнымъ, хотя и непріятнымъ явленіямъ общественной жизни. Вотъ почему поэма Гоголя останется въ ряду вѣчно-неувядающихъ художественныхъ произведеній, а романъ Писемскаго, при всей его занимательности, будетъ забытъ, какъ сочиненіе, писанное въ чадѣ временнаго увлеченія.

---

## БУРСА ВЪ ШКОЛѢ И ЛИТЕРАТУРѢ.

(«Очерки Бурсы», Н. Г. Помяловскаго).

«Очерки» Помяловскаго, давно извѣстны нашей публикѣ. Сочиненіе это, затрогивая одинъ изъ важныхъ общественныхъ вопросовъ, вызвало въ свое время участіе въ многочисленномъ классѣ читателей и вниманіе со стороны журналистики. Между-тѣмъ ни сама эта книга, ни написанныя по поводу ея замѣтки не только не исчерпали предмета, не уяснили его основной мысли, но даже не коснулись самыхъ видныхъ его сторонъ. А вопросъ этотъ, чуть не съ каждымъ днемъ, становится яснѣе, глубже затрогиваетъ общество, настоятельнѣе требуетъ разрѣшенія. Мы говоримъ о положеніи нашихъ духовныхъ училищъ, которыхъ организацію и внутренній бытъ представляетъ, по живымъ и свѣжимъ воспоминаніямъ, одинъ изъ даровитыхъ питомцевъ бурсы. Пора наконецъ обратить вниманіе на предметъ, котораго важность для всѣхъ очевидна.

Кто читалъ «Очерки Бурсы», тотъ конечно не забылъ, какую печальную картину написалъ Помяловскій въ своихъ

замѣчательныхъ статьяхъ. Помнится, кто-то сравнилъ тогда эти очерки съ записками изъ «Мертваго Дома». Несмотря на то, что инымъ эта мысль могла показаться слишкомъ эксцентричною, сближеніе однакожь довольно мѣтко. Въ общемъ характерѣ впечатлѣнія, въ типахъ и самыхъ краскахъ того и другаго сочиненія дѣйствительно не мало общаго. Оба писателя представили публикѣ рядъ портретовъ изъ такого темнаго быта, который былъ извѣстенъ ей смутно, по отрывочнымъ рассказамъ изъ вторыхъ рукъ. Тутъ увидѣла она его вполне и ясно, услышала о немъ отъ людей, чьихъ судьба лично привела въ эту среду и ознакомила съ нею долгимъ опытомъ.

Помяловскій представляетъ въ своихъ очеркахъ картину бурсы, гдѣ самъ провелъ нѣсколько лѣтъ, и рисуетъ ее мрачными красками, хотя участіе къ товарищамъ и дума о судьбѣ ихъ дышать теплотою на страницахъ его книги. Вы помните, какой это печальный міръ! Здѣсь все возбуждаетъ грустное чувство — и жалкое состояніе науки, и жалкіе нравы воспитанниковъ. Только среднебѣковая схоластика, при встрѣчѣ съ самой грубою средою, могла породить такое отталкивающее явленіе. Было время, когда въ нашихъ свѣтскихъ заведеніяхъ господствовали допотопныя методы преподаванія, и ученье ограничивалось механическимъ заучиваніемъ ветхихъ учебниковъ, но это время къ счастью давно уже прошло. Если теперь наши школы не могутъ еще похвастаться раціональнымъ образованіемъ, если духъ науки еще не утвердился въ нихъ, не вошелъ въ плоть и кровь юношества, то по-крайней-мѣрѣ эти заведенія совсѣмъ почти успѣли очиститься отъ схоластики. Было время, когда и нравы въ нашихъ свѣтскихъ училищахъ были до-того незавидны, что многіе родители боялись и мысли отдавать туда дѣтей. Те-

перь свѣтскія заведенія въ этомъ отношеніи измѣнились, и рассказы о школьныхъ безобразіяхъ остались только въ преданіяхъ стараго поколѣнія.

Но очерки Помяловскаго относятся къ эпохѣ очень-недавней, а между-тѣмъ представляютъ много общаго съ тѣмъ бурсацкимъ бытомъ XVI вѣка, который Гоголь такъ художественно представилъ въ одной изъ своихъ повѣстей.

Если, читая «Очерки Бурсы», вы видите, какъ грубо содержаніе написанной авторомъ картины, какъ, по выраженію художниковъ, *кричатъ* его краски, то чувствуете въ то-же время, что это происходитъ не отъ ложности рисунка или лубочной рѣзкости колорита, а напротивъ отъ одной только близости къ натурѣ. Припомните, съ какой осязаемою правдою представляетъ авторъ это учебное заведеніе, гдѣ сложилась и изъ поколѣнія въ поколѣніе заучивалась пѣсня о томъ, «какъ блаженны народы, невѣдающіе наукъ» и какую нужно имѣть вѣрную природу, для борьбы «съ училищными муками». Понятно, какова должна была быть среда, гдѣ въ кругу учащейся молодежи выработалось убѣжденіе, что занятіе науками составляетъ муку и несчастіе, каково было тамъ образованіе, если сложились такія поучительныя пѣсни. И авторъ «Очерковъ» очень мѣтко называетъ египетскою работою это ученіе, гдѣ «главнымъ свойствомъ педагогической системы была ужасающая и мертвящая долбня, проникавшая въ кровь и кости, гдѣ пропустить буюву, переставить слово считалось преступленіемъ, и гдѣ ученики, сидя надъ книгою, повторяли безъ конца и безъ смысла: «стыдъ и срамъ... стыдъ и срамъ... потомъ, потомъ... постигли, постигли, постигли... стыдъ и срамъ потомъ постигли». И такая египетская работа шла по всѣмъ наукамъ, начиная съ младшихъ классовъ до самыхъ высшихъ.

Подобная метода, при нравахъ какого-нибудь англійскаго общества—или сводить дѣтей въ могилу въ самыхъ раннихъ лѣтахъ, какъ диккенсова Поля Домби, или образуетъ изъ нихъ кротко-идіотическіе субъекты, въ родѣ мистера Тутса. Но что должна была выработать такая учебная система при другихъ нравахъ, которыхъ почти не задѣла еще цивилизація?

Нелѣпная долбня и спартанскія наказанія, какъ показываетъ Помяловскій, образовали въ тогдашней бурсѣ такую среду, гдѣ все отличается поразительною дикостью—и учебныя занятія, и взглядъ на жизнь, и товарищескія отношенія, и самыя игры и удовольствія. Возьмемъ нѣсколько подробностей изъ этой грустной картины. «Въ бурсѣ—говоритъ авторъ «Очерковъ»—добровольное сознание въ проступкѣ признавалось за пошлость и трусость; напротивъ, кто больше и наглѣе лгалъ передъ начальствомъ, безсовѣстно запирался, путалъ дѣло мастерски, божился и влялся на чемъ свѣтъ стоитъ, тотъ высоко стоялъ въ глазахъ бурсацкой общины». И посмотрите-же, какую милую и благоустроенную общину представляла эта молодежь, въ часы своихъ учебныхъ рекрецій: «Повисли въ воздухѣ хохотъ, остроты и вѣрпкая ругань... Какая-то шельма грегочеть... десятеро загреготали... двадцать человѣкъ... счету нѣтъ... Появились лай, мяуканье и кряканье, свистъ и визгъ. Ко всей этой ерундѣ присоединилось голосовъ сорокъ, бурсацкая разноголосица: участвующіе въ ней разбираютъ между собою всѣ тоны, употребляемые въ пѣніи, и всѣ ноты берутъ сразу... Существуетъ-ли на свѣтѣ еще какой-нибудь нелѣпный звукъ, который не отыскался-бы въ этой массѣ крика, пѣнья и гудѣнья!»

Заднія скамейки, или парты, носили въ бурсѣ характеристическое названіе Камчатки. Здѣсь собирались всѣ

личности, извѣстныя подъ именемъ «отпѣтыхъ», изъ которыхъ ничего не могли сдѣлать никакія наказанія, никакія розги, считавшіяся основнымъ камнемъ всей бурсацкой педагогикки. Тутъ процвѣтала самая горячая торговля и мѣна, тутъ совершались важнѣйшіе подвиги класнаго молодечества, тутъ справлялись и самыя занимательныя юношескія игры. Во время приготовительныхъ часовъ, въ Камчатѣхъ кипѣла своеобразная жизнь. Тутъ одинъ изъ юношей спитъ на партѣ, а товарищъ, замѣтивъ это, пускаетъ ему въ лицо комокъ жованой бумаги, за что получаетъ тотчасъ-же письменное посланіе съ лаконическимъ извѣщеніемъ: «послѣ занятія я тебѣ спину сломаю». Другой воспитанникъ для потѣхи товарищей корчитъ «рожи на двѣнадцать нумеровъ», третій насасываетъ себѣ до крови руку, четвертый продѣваетъ изъ носу въ ротъ нитку и передергиваетъ ее, и проч.

Игры и забавы этихъ камчатскихъ юношей еще нагляднѣе даютъ понятіе о ихъ нравахъ. Вотъ, напримѣръ, они «ломаютъ праники», то-есть двое бурсацовъ, ставъ спинами одинъ къ другому и сцѣпившись руками около локтей, поочередно взваливаютъ себѣ на спину другъ-друга, отчего составляется одна быстро качающаяся фигура. Въ другомъ мѣстѣ «показываютъ Москву» — прикладываютъ ладони къ ушамъ мальчика, сжимаютъ между ними голову и приподнимаютъ на воздухъ. При-этомъ, въ видѣ самыхъ невинныхъ забавъ и шутокъ, задаютъ другъ другу «лупки, швычки, волосянки»...Какія деликатныя игры! А что за типъ представляетъ авторъ въ своихъ разсказахъ! Какъ хорошъ, напримѣръ, этотъ Тавля, который любитъ загнать своимъ товарищамъ «салазки», то-есть, положивъ ученика на парту лицомъ вверхъ, пригибаетъ ему ноги къ головѣ, что разумѣется очень забавляетъ зрителей. А вотъ Горо-

благодатскій, побѣдивъ другаго бурсака на «кумашкахъ», отпускаетъ ему «горяченькихъ» и съ «пылу-горячихъ», то-есть скручиваетъ и щиплетъ ему кожу на рукахъ до того, что онѣ покрываются черными пятнами. Вотъ, наконецъ, Шестиухая-Чабря играетъ съ Омегой въ плевки, то-есть каждый старается выше плюнуть на стѣну, и потомъ побѣдитель задаетъ своему партнеру «верховую, низовую или всеобщую смазь», которая состоитъ въ томъ, что онъ забираетъ въ горсть лобъ, подбородокъ или все лицо несчастнаго игрока и трясетъ къ-верху и къ-низу... Не правда-ли, что и въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома» не много такихъ типовъ, что и тамъ нравы не болѣе лишены человѣчности?

Какъ-же могли развиваться подобные нравы въ заведеніяхъ, которыя должны быть образцомъ для другихъ, расадникомъ будущихъ наставниковъ и руководителей для всего общества? Должны-ли мы обвинять въ этомъ повально всю поступающую туда молодежь или вглядѣться внимательно, не зависитъ-ли все это отъ самой организаціи подобныхъ заведеній?

Читая «Очерки» Помяловскаго, вы ясно видите, что при томъ устройствѣ, какимъ отличалась въ его время бурса, отъ нея нельзя было и ожидать ничего другаго. Вмѣсто того, чтобъ развивать умы поступающихъ въ нее юношей, открыть имъ истинное значеніе науки, возбудить любовь къ знаніямъ, заставить понимать и уважать ихъ—схоластическое преподаваніе съ его тупымъ буквѣдствомъ, сухая долбня, не допускающая перестановки и одного слова въ учебникахъ, гасили любознательность и въ тѣхъ мальчикахъ, которые приносили ее изъ родной семьи. Вмѣсто того, чтобъ мягкимъ обращеніемъ и христіанскою кротостью сгладить угловатости молодыхъ школьниковъ и собственнымъ примѣромъ показать имъ будущее назначе-

ніе, пробудить уваженіе и любовь къ нему, руководители этой молодежи постоянною холодною, суровою, безпопадными наказаніями заглушали послѣдніе остатки челоуѣчности въ молодыхъ сердцахъ. Понятно, что при совершенной оторванности отъ общества, здѣсь и умы должны были съуживаться, и нравы грубѣть и опошляться. Схоластика вела неизбѣжно къ отупѣнію или отрицанію, розги къ униженію или ожесточенію. И все это зависѣло не отъ какихъ-нибудь частныхъ, а отъ самой организаціи заведеній. «Очерки» Помяловскаго самымъ нагляднымъ образомъ указываютъ на полную несостоятельность порядковъ, какими въ его время отличалось внутреннее устройство бursы, и слѣдовательно на необходимость ея преобразованія. Что семинаріи не могли быть исправлены удаленіемъ какихъ-нибудь камчадаловъ или перемѣною въ личномъ составѣ начальства и преподавателей, это очевидно: по разсказамъ автора, за лѣность и дурное поведеніе постоянно выгонялись десятки учениковъ, а въ кругу учителей всегда были порядочные люди, но они не могли уже дѣйствовать благотворно на испорченную массу. Ясно, что бursы требуютъ преобразованія радикальнаго. Чтобы эти заведенія могли быть разсадниками будущихъ пастырей народа, способныхъ дѣйствовать на него и живымъ знаніемъ, и чистотою нравовъ, въ нихъ какъ преподаваніе, такъ и воспитаніе должны быть поставлены въ совершенно иное положеніе. Тогда только они перестанутъ быть питомниками невѣжества и грубости, когда наука отброситъ здѣсь схоластическія формы, а воспитаніе оживетъ подѣ влияніемъ людей образованныхъ и сердечно преданныхъ интересамъ воспитывающейся молодежи. Эта мысль и высказывается косвенно въ сочиненіи Помяловскаго.

Но необходимость преобразованія семинаріи и бursы



становится еще очевиднѣе и неотразимѣе, когда мы обратимся къ ихъ вліянію на общество, взглянемъ на дѣятельность этихъ молодыхъ людей по выходѣ изъ заведеній. Здѣсь гораздо яснѣе, чѣмъ въ ихъ дѣтскихъ занятіяхъ, играхъ и товарищескихъ отношеніяхъ, обнаруживаются капитальные недостатки ихъ образованія и воспитанія. Мы намѣрены указать на вліяніе бурсы на нашу литературу и журналистику, къ которымъ въ послѣднее время примкнуло не мало дѣятелей изъ духовныхъ училищъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и изъ этихъ заведеній выходило и выходитъ много полезныхъ людей, съ честью заявляющихъ свою дѣятельность въ разныхъ отрасляхъ науки и даже литературы, каковы напримѣръ Надеждины, Павскіе, Неволіны и другіе, хорошо извѣстные нашей публикѣ. Примассѣбующагося юношества въ нашихъ духовныхъ школахъ это и не могло быть иначе. Откуда сильная натура и богатая способности не выносили человѣка? Но мы говоримъ о томъ «семинарскомъ контингентѣ», которымъ пополнялась русская литература и журналистика, особенно въ послѣдніе годы. Книга Помяловскаго, представляя намъ дѣтство этихъ людей, служить естественнымъ ключемъ къ уясненію этой литературной партіи.

Воспитаніемъ этихъ дѣятелей опредѣляется и характеръ ихъ дѣятельности. Понятно, какое возрѣніе должны были внести въ нашу литературу эти молодые люди, взращенные на безжизненной методѣ ученья, при безпощадной строгости непрерывныхъ наказаній, посреди самыхъ грубыхъ нравовъ и пошлыхъ развлеченій. Сухая схоластика, отсутствіе научной жизни и эстетическаго развитія, естественно, должны были повести къ одностороннему пониманію науки и къ отрицанію искусства. Мученики грубой формы — они не могли, конечно, ни чувствовать, ни уважать художественныхъ формъ. Напитанные отвлеченности-

ми — они, по неизбежному закону реакціи, должны были броситься въ крайній реализмъ. Бурса такимъ-образомъ, по самому устройству своему, сдѣлалась разсѣдникомъ отрицанія, которое многихъ такъ тревожитъ въ настоящее время. Но это явленіе вполне естественное. Всмотритесь въ другія европейскія литературы — вы увидите, что такое-же явленіе возникало вездѣ, при переходѣ отъ схоластики къ жизни, какъ скоро схоластика не дѣлала своевременныхъ уступокъ жизни. У насъ должно было проявиться это въ семинаріяхъ, удержавшихъ средневѣковыя формы въ то время, когда другія учебныя заведенія обновлялись постепенно, подѣ влияніемъ жизни и духа времени. Тутъ были всѣ необходимые элементы и для крайняго нигилизма, и для грубаго отрицанія искусства. Тяжелый гнетъ схоластики приводилъ естественнымъ образомъ къ уклоненію отъ всякой системы, а грубые бурсацкіе «свычай и обычай» заглушали всякое поэтическое чувство, всякую возможность понимать изящное. Здравую-ли науку могли выносить юноши изъ того педантическаго тумана, въ которомъ они не видали ни одного луча живой истины? Художникамъ-ли было образоваться въ этомъ грубомъ мірѣ, гдѣ ничего не давалось для развитія эстетическаго чувства? И въ-самомъ-дѣлѣ, изъ всего этого контингента не вышло въ послѣднее время ни одного поэта, ни одного романиста, ни одного писателя съ эстетически развитымъ вкусомъ. Никто, конечно, не отнесетъ къ сферѣ искусства тотъ знаменитый псевдо-романъ, гдѣ всѣ лица и положенія сочинены для разрѣшенія заранее составленныхъ теорій жизни. Никто не заподозритъ въ художественномъ значеніи и тѣхъ издѣлій мнимой беллетристики, какія теперь появляются на нѣкоторыхъ журнальныхъ партахъ, подѣ этикетками романовъ и повѣстей. Это не что иное, какъ

произведеніе схоластики и незнанія дѣйствительной жизни.

И такое явленіе въ нашей литературѣ даже не ново. Помните-ли вы ту писательскую школу, которая еще въ до-петровскія времена образовалась въ кievскихъ и вилenskихъ духовныхъ училищахъ и въ московской Славяно-греко-латинской академіи? Изъ нея вышла на поприще сочинительства цѣлая фаланга псевдо-поэтовъ, въ родѣ Симеоновъ Полоцкихъ, Лазарей Барановичей, Сильвестровъ Медвѣдовыхъ, которые видѣли поэзію въ однихъ тяжелыхъ силлабическихъ виршахъ. Не то-ли мы находимъ и теперь въ нашей беллетристикѣ? Новые Лазари и Сильвестры упражняются въ сочиненіи романовъ и повѣстей и вовсе не подозрѣваютъ, что это только формы повѣсти и романа, а на самомъ дѣлѣ въ этихъ прозаическихъ виршахъ столько-же поэзіи, сколько въ «поэматахъ» и «акростихахъ» нашихъ стихослагателей XVII вѣка. У тѣхъ и другихъ нѣтъ ни малѣйшаго слѣда творчества. И конечно, наша бурсацкая школа займетъ въ литературѣ такое-же мѣсто, какъ и школа до-петровскихъ риторовъ: тѣ и другіе выросли одинаково на чужомъ вліяніи, не поняли окружающей ихъ дѣйствительности, и въ глуши своихъ келій и кабинетовъ не видали настоящей народной жизни. Разумѣется, наши современные схоластики, какъ и старые риторы, считаютъ себя людьми передовыми, просвѣтителями народа, а свои письменныя издѣлія свѣтлою «литературою будущаго». Но на самомъ дѣлѣ эту литературу ждетъ та-же самая будущность, какая постигла школьныя произведенія схоластиковъ XVII столѣтія. Живая народная литература обойдетъ и забудетъ эти софистическія и безвкусныя издѣлія, какъ забыла она вирши Симеоновъ Полоцкихъ и Лазарей Барановичей.

Но виноваты-ли эти люди, что ихъ литературные труды такъ грубы и бесплодны? Никто не будетъ отрицать, что

между ними много дѣателей трудолюбивыхъ, честныхъ и любознательныхъ, одушевленныхъ преданіемъ дѣлу и желаніемъ общественной пользы. Основною причиною ихъ безплоднаго труда служить только ихъ воспитаніе. Освобождаясь изъ-подъ схоластической ферулы, не вынося изъ школы ни одного теплаго слова участія, битые за то, что старались понять смыслъ того, чему ихъ учили,—они, естественно, выносили ненависть ко всѣмъ существующимъ порядкамъ, и мстили за свое прошлое реализмомъ и отрицаніемъ. Обращаясь къ литературнымъ занятіямъ, они переносили сюда свои бурсацкіе нравы, свой школьный цинизмъ. Если подобное направленіе обнаруживается и въ свѣтскихъ заведеніяхъ, прививается къ молодежи другихъ сословій и выражается въ статьяхъ писателей, не воспитанныхъ въ бурсахъ, то все-же починъ этого нигилизма и грубости принадлежитъ духовнымъ училищамъ. Молодые воспитанники ихъ, поступая въ университеты, переносятъ туда свою ненависть къ искусству, свое повальное отрицаніе, и впоследствии приобрѣтаютъ новыхъ адептовъ. Недавно еще одинъ изъ нашихъ молодыхъ литераторовъ печатно заявлялъ, что онъ обязанъ своимъ прозрѣніемъ, то-есть усвоеніемъ реального взгляда и отрицаніемъ искусства, одному изъ бывшихъ воспитанниковъ бурсы... И вліяніе этихъ людей понятно. Страхивая съ себя по выходѣ изъ бурсы все, кромѣ ненависти къ ней, они должны конечно обладать значительною энергіею въ своемъ отрицаніи, и эта-то энергія приобрѣтаетъ имъ послѣдователей въ кругу молодежи. Все это—естественное послѣдствіе самой организаціи бурсы.

Посмотрите-же, какіе нравы внесли эти люди въ нашу литературу, какую камчатку открыли они въ средѣ нашей журналистики, какую партію сформировали изъ своихъ бурсацкихъ партъ. Все, что видимъ мы грубаго въ поня-

тіяхъ и бытѣ, который такъ вѣрно представленъ въ «Очеркахъ» Помяловскаго, люди эти перенесли цѣликомъ на страницы нашихъ журналовъ, и разумѣется на столько рѣзче, насколько должны были возмужать эти юноши по выходѣ изъ школы на широкое поле общественной дѣятельности. Прѣжняя бурсацкая долбня и механическое заучиванье учебниковъ сохранились во всей прелести, въ примѣненіи къ новой, добровольной долбнѣ иностранныхъ доктринъ, съ тѣмъ-же рабскимъ подчиненіемъ этимъ новымъ учителямъ. Какъ на школьныхъ скамьяхъ зазубривали они въ своихъ тетрадахъ: «стыдъ и срамъ... постигли... стигли, стигли» — такъ и теперь принялись долбить, по той же методѣ и съ тою-же настойчивостью, Бокля, Прудона, Молешотта, не заботясь о томъ, на сколько взгляды этихъ писателей примѣняются къ нашей дѣйствительности. Во всѣхъ ихъ разсужденіяхъ о новыхъ европейскихъ системахъ видна та-же схоластика, то-же, незнакомство съ жизнью, какъ и въ бурсацкой долбнѣ, описанной Помяловскимъ. Пѣсни о блаженствѣ народовъ «незнающихъ наукъ» переложились на страницахъ журналовъ въ новое пѣніе о томъ, какъ будутъ блаженны народы, не знающіе искусства и поэзіи — этихъ погремусекъ, забавляющихъ неразвитое общество. Типы Помяловскаго прямо перешли въ журналистику, но только еще болѣе возмужали и окрѣпли. Это тѣ-же Тавли, Гороблагодатскіе и Шестиухіе-Чабри, которые перенесли свою дѣятельность съ парты бурсацкой камчатки въ редакціи литературныхъ журналовъ.

Мы не хотѣли-бы касаться грязныхъ страницъ, какими отличалась наша литература въ послѣдніе годы, но при-нуждены напомнить о нихъ, чтобъ насъ не обвинили въ голословныхъ отзывахъ.

Кто не помнитъ, что дѣлалось недавно на журнальныхъ партахъ нашего литературно-семинарскаго контин-

гента? Лупки, швычки и волосянки живьемъ перенеслись изъ бурсы въ критику и полемику и вызвали то печальное явленіе, что публика начала отворачиваться отъ журналовъ и считать неприличнымъ подписываться на нихъ. И что значать школьныя волосянки и смази передъ тѣми лупками и смазами, какими осыпали другъ-друга эти витязи! Въ журналахъ появились объемистыя статьи, въ двадцать и въ тридцать страницъ, не съ цѣлью разъясненія какого-нибудь литературнаго или общественнаго вопроса, а изъ-за того только, чтобъ рѣшить, кто лучше другаго обругаетъ, точно такъ-же какъ Омега и Чабря забавлялись — кто выше плюнетъ на класную стѣну. Верхнія и нижнія смази и загибанье другъ-другу салазокъ приняли грандіозныя размѣры. Вся «чорная и бѣлая грязь», по выраженію одного изъ этихъ составителей, перешла въ литературу; все, что въ бурсацкихъ замашкахъ было грубаго и отталкивающаго, высказалось въ этой полемикѣ. Одна литературная парта называла своихъ одноклассниковъ «вислоухими», другая, въ свою очередь, величала ихъ «прихвостниками». Одинъ изъ противниковъ (положимъ хоть А) упрекалъ другаго за то, что онъ спалъ въ какой-то графской передней; а этотъ другой (назовемъ его хоть Б), съ своей стороны, обзывалъ его хавроньей, раскапывающей его статьи (забывая, что говоритъ о своихъ-же сочиненіяхъ). Недовольный такой любезностью, А. грозитъ посадить Б. на ладонь и показать зачѣмъ-то публикѣ, а Б. совѣтовалъ А. спрятаться въ сапогъ и не показывать никуда «безстыжихъ глазъ»... Ну, не лучше-ли это всѣхъ бурсацкихъ волосянокъ, нетолько горяченькихъ, но и съ пылу-горячихъ? Самъ Тавля не загибалъ такъ энергически салазокъ своимъ однопартникамъ! Было и еще лучше. Когда кто-то затѣялъ споръ и «поднялъ вопросъ» о томъ, почему

Тургеневъ и Л. Толстой отказались отъ постоянного сотрудничества въ одномъ литературномъ журналѣ, камчатка по-спѣшила заявить, что этотъ отказъ былъ недобровольный, и что лучшіе наши современные писатели были будто-бы изгнаны самою редакціею за свою «отсталость». Это ужъ такая «вселенская смазь» на которую не рѣшится-бы можетъ-быть и Шестиухая-Чабря!

Вотъ эти-то подвиги литературной камчатки, гораздо яснѣе и нагляднѣе, чѣмъ бурсацкая камчатка, говорятъ о необходимости реформы въ нашихъ семинаріяхъ. Эти живые типы новыхъ критиковъ и публицистовъ, больше чѣмъ Омеги, Тавли и Гороблагодатскіе, заставили думать о необходимости смягченія бурсацкихъ нравовъ не какимъ-нибудь стѣсненіемъ, а радикальнымъ преобразованіемъ тѣхъ заведеній, гдѣ образуются подобные типы. Строго вѣнчить теперь этихъ людей было-бы не совсѣмъ справедливо. Кто цѣлые годы загибалъ салазки школьнымъ товарищамъ, для того загибанье салазокъ сдѣлалось потребностью и въ общественной дѣятельности. Гораздо меньше снисхожденія заслуживаютъ тѣ господа, которые со стороны примыкаютъ къ этой партіи: эти неофиты часто превосходятъ своихъ наставниковъ. Одинъ изъ такихъ вольно-переходящихъ на бурсацкую партію адептовъ очень серьезно и съ ловкостью достойною лучшаго дѣла проповѣдывалъ, что Пушкинъ не поэтъ, а только искусный слагатель стиховъ на темы волокитства и попоекъ; а другой господинъ съ неменьшею энергіею доказывалъ, что изящныя искусства—живопись, музыка, поэзія—выражаютъ только неразвитость общества и должны уничтожиться съ большею зрѣлостью человѣчества... И это говорятъ люди не глупше, но только поврежденные вліяніемъ литературной парты Гороблагодатскихъ и Чабрей, у которыхъ всего больше развито искусство задавать съ «пылу-горячихъ» кому

ни попало. Сперва загибали они салазки Тургеневу—а тамъ стали задавать смази Пушкину, Рафаэлю, Маколею, живописи, поэзіи... всему искусству...

Мы рѣшились высказать все это не потому, чтобъ у насъ были какія-нибудь личныя неудовольствія на литературную камчатку: мы никогда не имѣли съ нею ничего общаго и не участвовали въ ея полемическихъ играхъ въ камушки и смази; а говоримъ единственно для объясненія настоящаго значенія этой литературной парты. Намъ искренно жаль ее, потому-что мы видимъ въ ней людей съ дарованіемъ, которые могли-бы быть полезными обществу своей дѣятельностью, а между-тѣмъ тратятъ ее самымъ бесплоднымъ и жалкимъ образомъ, именно въ то время, когда наше общество нуждается въ полезныхъ дѣятеляхъ. Грустно особенно то, что двѣ-три даровитыя личности изъ этой партіи вызвали къ такому бесплодному труду десятки бездарностей, которые нивуда не годны въ литературѣ, но могли-бы быть полезными на какомъ-нибудь другомъ поприщѣ. Мало-ли занятій, гдѣ вовсе не требуется эстетическаго развитія! Въ литературѣ дѣло другое: тутъ безъ этого развитія можно писать только ругательства или какія-нибудь подобія «Телемахиды». Это и показали намъ произведенія бурсацкой партіи: отсутствіе вкуса и литературнаго такта—отличительныя черты всѣхъ ея представителей.

Спрашивается: какое-же вліяніе имѣетъ на публику эта литературная парта?

Мы не вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе тѣхъ, которые полагаютъ, что наша реалистическая партія вредна своимъ ученіемъ для всего общества, и толкуютъ о необходимости какихъ-то репрессивныхъ мѣръ. Напротивъ, пускай она договаривается свободно до послѣднихъ выводовъ—тогда-то и обнаружится вся ея пустота, а слѣдова-



тельно и безвредность. Тревожиться тутъ не изъ-чего. Возможно-ли думать серьезно, чтобъ обществу могла грозить опасность со стороны людей, которые до - сихъ - поръ только утрировали чужія теоріи, не примѣнимыя къ нашей жизни, да вели полемику, основанную на пошлыхъ личностяхъ? Мы видѣли, чѣмъ кончились мечтанія ихъ образцовъ, Сен-Симоновъ, Кабэ, Робертъ-Оуэновъ, которымъ такъ грубо, такъ бессмысленно подражаютъ наши теоретики. Въ обществѣ много здраваго смысла, и оно не можетъ долго увлекаться подобными иллюзіями, если даже онѣ выражаются и не въ такой топорной формѣ, и вызываются не однимъ кабинетнымъ задоромъ. Мы увѣрены, что если устранить вопіющіе недостатки нашего воспитанія, то черезъ нѣсколько лѣтъ эта риторическая школа будетъ на столько-же дикою въ глазахъ ея нынѣшнихъ послѣдователей, на сколько она теперь кажется дикою людямъ, не принадлежащимъ къ ея толкѣ. Говорить серьезно о неминуемой опасности, угрожающей всему обществу отъ этой журнальной парты, значитъ слишкомъ мало уважать общество. Дурное вліяніе бурсацкой партіи идетъ совсѣмъ не чрезъ литературу...

Искусству такъ-же мало грозитъ опасность отъ нападеній этихъ риторовъ, какъ и поэтическому значенію Пушкина. Тому и другому отъ этихъ бурсацкихъ выходокъ, какъ говорится, ни тепло, ни холодно. Еслибъ въ Англіи или Германіи кто-нибудь вздумалъ говорить, что Байронъ пошлый пѣвецъ того пошлаго общества, которое могло интересоваться любовными подвигами какого-нибудь Дон-Жуана, а дрезденская галерея и Лувръ существуютъ только для удовлетворенія празднаго любопытства пошлыхъ туристовъ, — тамъ расхохотались-бы надъ такими кунштиками или сочли этихъ господъ за пациентовъ Бэдлама. У насъ-же, благодаря низкому уровню образованія, подобныя вы-

ходки находятъ послѣдователей. И въ этомъ нѣтъ большой бѣды: что само по себѣ жизненно, то не падетъ отъ нападковъ фальшивой школы. Вѣдь Полоцкіе и Медвѣдевы были глубоко убѣждены въ бесполезности нашей народной литературы, считали ее никуда негодною пошлостью и ставили неизмѣримо ниже своихъ «виршей» и «комидій»; а эти пошлыя и гонимыя сказки и пѣсни послужили впоследствии къ очищенію обезображенной схоластиками литературы. Точно тоже и теперь. Искусство и чистый его представитель, Пушкинъ, останутся вѣчно неизмѣнными и въ свою очередь послужатъ для отрезвленія этихъ новѣйшихъ риторовъ, для очищенія ихъ отъ грубаго нароста бурсы. Всѣ эти выходки противъ искусства, нахвачанныя изъ книги Прудона «Du principe dans l'art» и обращенныя, по системѣ бурсацкаго долбленія, на уничтоженіе искусства и «развѣнчаніе» Пушкина, носятъ въ самихъ себѣ элементы неизбежной смерти...

Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ наша бурсацкая партія была совсѣмъ безвредна. Напротивъ: эти толки о бесполезности искусства, эти постоянныя выходки нигилизма дѣйствуютъ на недоучившуюся часть молодаго поколѣнія. Эти полемическія игры отвлекаютъ цѣлыя десятки молодыхъ людей отъ полезной дѣятельности, губятъ напрасно свѣжія силы, парализуютъ правильный ходъ литературы, ослабляютъ ея вліяніе въ то время, когда она могла бы быть особенно полезною, и наконецъ унижаютъ значеніе критики, которая много содѣйствовала развитію общества. Въ этомъ-то отношеніи очевиднъ вредъ литературной парты, которой зародышъ такъ живо представилъ намъ одинъ изъ даровитыхъ ея представителей, въ своихъ «Очеркахъ Бурсы». Конечно, и этотъ вредъ временный, но въ настоящее время онъ слишкомъ замѣтенъ въ обществѣ...

Такимъ - образомъ литературная дѣятельность нашей

бурсацкой школы показываетъ гораздо нагляднѣе, чѣмъ «Очерки» Помяловскаго, какъ необходимо было обратить вниманіе на состояніе нашихъ духовныхъ училищъ. Вліяніе укоренившейся тамъ схоластики и грубыхъ нравовъ не оканчивается въ стѣнахъ бурсы, но остается въ молодыхъ людяхъ далеко за ея порогомъ, не всегда даже уступаетъ вліянію университетовъ и переходитъ въ дальнѣйшую общественную дѣятельность — что мы и показали, коснувшись участія ея питомцевъ въ литературѣ и журналистикѣ. Если же эта печать не стирается тамъ, гдѣ бываетъ постоянный обмѣнъ идей, непрерывное столкновеніе съ жизнью, то можно-ли требовать, чтобъ она сгладилась при другихъ положеніяхъ, на другихъ поприщахъ, не столько для того благопріятныхъ? Не пора-ли намъ поэтому обратить серьезное вниманіе на состояніе нашихъ духовныхъ училищъ, откуда выходитъ такое значительное число молодежи и въ среду духовенства, и въ университеты, и въ гражданскую службу? Не пора-ли подумать о томъ, какъ поставить эти школы въ такія условія, при которыхъ не возможны были-бы явленія, подобныя тѣмъ, какія совершаются въ нашей литературѣ? Въ возможности этого нельзя сомнѣваться, какъ и въ необходимости. Мы не думали, конечно, разбирать въ этой статьѣ, въ чемъ именно должно состоять перерожденіе бурсы и духовныхъ школъ, а хотѣли только показать, что необходимость реформы стала очевидною для всякаго, кто всматривался въ литературную дѣятельность воспитанниковъ этихъ школъ. Она лучше всякихъ книгъ и разсужденій указываетъ на необходимость реформы, которая должна имѣть большое вліяніе не только на измѣненіе быта одного сословія, но вмѣстѣ-съ-тѣмъ на улучшеніе нравовъ во всей народной массѣ.

## РОДИНА СКЕПТИЦИЗМА.

(По поводу книги „Библия и Наука“)

У насъ распространена мысль, что французская литература въ религіозномъ отношеніи имѣла вредное вліяніе на наше общество, тогда какъ литература нѣмецкая не только никогда не колебала никакихъ вѣрованій, а напротивъ, служила къ утвержденію всякаго рода нравственныхъ началъ. Во французскихъ писателяхъ у насъ привыкли отыскивать однѣ разрушительныя тенденціи, а нѣмецкія книги считать въ этомъ смыслѣ не только невинными, но чуть не каноническими. Такое мнѣніе сложилось съ давняго времени и до-сихъ-поръ принимается многими за несомнѣпную истину. Но такъ-ли это на самомъ дѣлѣ, и не пора-ли провѣрить, которая изъ двухъ литературъ, французская или нѣмецкая, внесла менѣе скептицизма и отрицанія въ нашу литературу и общество? Не время-ли наконецъ взглянуть на этотъ вопросъ не глазами людей, съ чужаго голоса опирающихся на имена Вольтеровъ и Ренановъ? Предметъ этотъ такъ серьезенъ, что мы конеч-

но не рассчитываемъ исчерпать его вполнѣ, а хотимъ только обратить на него вниманіе и показать необходимость его разъясненія.

Никто не будетъ отрицать, что французская литература прошлаго вѣка отличалась направленіемъ, враждебнымъ не только уставамъ церкви, іерархіи и ритуалу, но и многимъ изъ ея существенныхъ догматовъ. Но во-первыхъ, не слѣдуетъ забывать, что направленіе это вызвано было во Франціи тѣми вопіющими злоупотребленіями римскаго двора и антихристіанскими дѣйствіями католическаго духовенства, которыя неизбежно порождали противодѣйствіе и заставили народъ пылкій и увлекающійся броситься въ крайности и излишества. Во-вторыхъ извѣстно, что многія изъ радикальныхъ идей, обращавшихся тогда во французской литературѣ, были только развитіемъ понятій, унаслѣдованныхъ Германіею отъ эпохи реформации и выражавшихся, хотя можетъ-быть не съ такой ясностью, въ нѣмецкой наукѣ и литературѣ. Большинство энциклопедистовъ только популяризировали лютеранско-нѣмецкій скептицизмъ, какъ впослѣдствіи Кузенъ обобщалъ идеи Гегеля, какъ Вильменъ опирался на методъ Шлегеля. Едва-ли кто ошибется, говоря, что вся французская философія была только популяризацией философскихъ идей англичанъ и еще болѣе нѣмцевъ. Пора, наконецъ, смотрѣть правильнѣе и на Вольтера. Безспорно, въ сочиненіяхъ его разсѣяно много религіознаго кощунства; но можно-ли считать его атеистомъ? можно-ли даже назвать не христіаниномъ? Былъ-ли атеистомъ тотъ, кто въ своемъ Фернеѣ построилъ храмъ и написалъ надъ его дверями: Deo egressit Voltaire? Ужели это, какъ иные увѣряютъ, только притворство и маска передъ свѣтомъ? Но передъ кѣмъ-же ему было притворяться въ Женевѣ, этомъ пріютѣ всякихъ вѣрованій и

сомнѣній? И зачѣмъ было надѣвать іезуитскую маску тому, кто былъ врагомъ всякой маскировки и іезуитства? Можно ли назвать нехристіаниномъ человѣка, который всегда боролся съ насиліемъ и фанатизмомъ, стоялъ за человѣческія права, свободу и христіанскую любовь? Какъ обвинять въ антихристіанствѣ того, кто могучей силою своего неутомимаго смѣха погасилъ костры инквизиціи, помогъ уничтоженію пытки, кто всегда стоялъ на сторонѣ притѣсняемыхъ и гонимыхъ? Если разрушительная насмѣшка Вольтера, подрывая злоупотребленія католической церкви, задѣвала иногда и предметы священные, то ни въ какомъ случаѣ Вольтеръ не обращался на самыя идеи христіанства, а напротивъ, очищалъ ихъ отъ вѣковыхъ искаженій со стороны папства, инквизиціи и іезуитовъ. Скорѣе слѣдуетъ обратить упрекъ въ антихристіанствѣ на ученика Вольтера, Фридриха II, который, подражая въ кошунствѣ своему учителю, не раздѣлялъ нисколько его гуманнаго духа и едва-ли вѣрилъ во что-нибудь, кромѣ величія своего абсолютизма и могущества дисциплины. Наконецъ все, въ чемъ укоряютъ Вольтера, съ большимъ основаніемъ не должно миновать Гейне, который не только смѣялся надъ католическою и лютеранскою церковью, но нерѣдко обращалъ свою насмѣшку и на идеи, тѣсно связанныя съ сущностью самого христіанства. Не говоримъ уже, что Вольтеръ, при всемъ своемъ космополитизмѣ, оставался всегда французомъ, горячо любящимъ свою страну, а Гейне смѣялся даже надъ любовью къ отечеству. Вообще не должно забывать, что идеи, которыя въ концѣ прошлаго вѣка привели французовъ къ отпаденію отъ церкви и служенію богинѣ разума, скоро исчезли почти безслѣдно, и Франція черезъ нѣсколько лѣтъ читала уже Ламартиновъ и Шатобріановъ; между тѣмъ какъ въ Германіи идеи эти не переставали жить и

на университетскихъ кафедрахъ, и въ ученыхъ сочиненіяхъ. Обвиненіе французской литературы въ антирелигіозномъ направленіи усилилось въ послѣднее время по случаю появленія извѣстнаго сочиненія Ренана «*Vie de Jésus*». Но кто знакомъ хотя поверхностно съ нѣмецкими анализаторами Библии и Евангелія, тотъ конечно согласится, что Ренанъ былъ только послѣдователемъ Штраусовъ, Эйхталея, Рейссовъ и другихъ ученыхъ нѣмцевъ, которые гораздо раньше его и съ большей эрудиціей и смѣлостью занимались этимъ предметомъ. Еслибы мы захотѣли сравнить сочиненія Ренана и Штрауса, то не трудно было-бы доказать, что идеи послѣдняго отличаются несравненно большимъ радикализмомъ и отрицаніемъ. Если-же ученаго нѣмца читають меньше, чѣмъ его французскаго послѣдователя, то это оттого, что одинъ относится къ своему предмету со всѣми тяжелыми приѣмами безстрастнаго критика, а другой невольно привлекаетъ художественной красотою картинъ и образовъ и изяществомъ литературной формы. Что-же касается сущности самаго вопроса, то Ренанъ не сказалъ ничего новаго. Вообще едва-ли подлежитъ сомнѣнію, что антирелигіозныя идеи французовъ возникали больше всего либо отъ присущаго имъ легкомыслія и духа насмѣшки, либо отъ противодѣйствія безумнымъ увлеченіямъ католическаго духовенства, породившаго инквизицію и іезуитовъ и неперестающаго измышлять нелѣпыя догматы въ родѣ иммакуляціи и папской непогрѣшимости; между-тѣмъ какъ скептицизмъ и отрицаніе нѣмцевъ проистекають изъ самой сущности лютеранства, навсегда отрѣшившагося отъ многихъ преданій первобытной церкви и по духу своему не только не противодѣйствующаго, но поощряющаго къ анализу и сомнѣнію. Вотъ почему нѣмцы внесли въ науку и литературу гораздо больше скептицизма, чѣмъ французы.

Вліяніе нѣмецкихъ идей на наше общество началось безъ сомнѣнія раньше, нежели вліяніе французской литературы. Хотя происки іезуитовъ обнаружались въ Россіи еще съ XVI вѣка, но они шли сколько извѣстно не изъ Франціи, а непосредственно изъ Рима; между-тѣмъ какъ со времени Петра I лютеранско-нѣмецкія понятія, при посредствѣ московской Нѣмецкой-Слободы и наплывѣ нѣмцевъ изъ Ливоніи и Германіи, начали проникать не только въ высшія сферы русскаго общества, но даже и въ самое наше духовенство. Доказательствомъ этому служитъ между-прочимъ книга Стефана Яворскаго «Камень Вѣры», главною задачею которой было огражденіе православной церкви отъ вліянія лютеранскихъ идей, замѣтно проявлявшихся въ поученіяхъ и сочиненіяхъ нѣкоторыхъ русскихъ духовныхъ лицъ.

Несмотря на то, что у насъ существуетъ довольно обширная литература по части русскаго раскола, одна сторона этого предмета остается до-сихъ-поръ не достаточно разъясненною, именно вопросъ о томъ, какое вліяніе имѣли на распространеніе и укорененіе нашихъ раскольничьихъ сектъ нѣмцы-лютеране. Не касаясь до-петровскаго времени, когда русскій расколъ ограничивался почти однимъ противодѣйствіемъ никоновской церковной реформы и не имѣлъ ни того крайняго упорства, ни тѣхъ идей, какія обнаружили въ немъ впоследствии, укажемъ на болѣе позднѣйшую эпоху. Несомнѣнно, что самыя радикальныя ученія въ еретическомъ смыслѣ начали возникать у насъ только со времени Петра Великаго, и можно болѣе чѣмъ подозрѣвать участіе въ этомъ лютеранства. Въ нѣкоторыхъ раскольничьихъ сектахъ видны до-того ясныя слѣды этого вліянія, что ихъ замѣтили даже иностранцы. Одинъ изъ самыхъ добросовѣстныхъ писателей о русскомъ расколѣ, баронъ Гавстгаузенъ, подмѣтилъ съ перваго взгляда, что



въ ученіи нашихъ молоканъ и духоборцевъ видна несомнѣнная примѣсь идей, заимствованныхъ съ Запада, и именно изъ ученія лютеранскаго. И на сколько мы знаемъ основныя начала этихъ сектъ, дѣйствительно, нельзя сомнѣваться, что существовавшія до Петра еретическія понятія ожили и укрѣпились въ этихъ сектахъ подъ вліяніемъ нѣмецкихъ религіозныхъ идей. Есть основаніе полагать, что къ укрѣпленію ихъ послужила близость поселенныхъ по сосѣдству съ сектантами колоній нѣмецкихъ менонитовъ. Чтобъ видѣть, откуда и какимъ путемъ вѣяло на этихъ раскольниковъ, достаточно вспомнить, что тотъ-же баронъ Гакстгаузенъ, во время поѣздки своей въ южную Россію, напелъ у молоканъ переводъ сочиненій Юнга Штиллинга. Намъ самимъ случилось встрѣтиться въ Москвѣ съ раскольниковомъ, который былъ знакомъ съ книгою Экартсгаузена, хотя и толковалъ по своему ея мистическія положенія. Припомнимъ еще, что въ сороковыхъ годахъ, подъ самою столицею, недалеко отъ Петергофа, открыта была нелѣпая секта, въ которой главною участницею оказалась дочь пастора одной изъ столичныхъ нѣмецкихъ церквей, Аврора \*\*\*, и въ сборищахъ этихъ сектантовъ участвовали какъ нѣмцы, такъ и русскіе. Не надобно еще забывать, что нѣкоторыя изъ нашихъ расколичныхъ сектъ замѣтно подновлялись и оживали послѣ того, какъ въ средѣ ихъ явились солдаты, возвращавшіеся изъ походовъ въ Германію въ семилѣтнюю войну и позднѣе: они, даже и при незнаніи нѣмецкаго языка, выносили понятія не только о вѣшней сторонѣ лютеранской церкви, но даже о самомъ ея ученіи, конечно въ неточномъ и искаженномъ видѣ. Это такъ-же несомнѣнно, какъ вліяніе нѣмецкихъ тайныхъ бундовъ на нашихъ офицеровъ во время походовъ 1813 и 1814 годовъ.

Обращаясь къ нашему образованному обществу, мы и

тутъ видимъ, что распространенію скептическихъ идей способствовала не столько французская, сколько нѣмецкая литература. Правда, во второй половинѣ прошедшаго и въ началѣ нынѣшняго вѣка у насъ читали больше французскихъ писателей; но, какъ мы уже сказали, они сами вдохновлялись въ этомъ отношеніи идеями, заимствованными изъ Германіи. Что касается позднѣйшаго времени, то здѣсь антирелигіозныя понятія, очевидно, уже почерпались и почерпаются изъ философіи и науки нѣмецкой. Мы не имѣемъ возможности опредѣлить въ небольшой статьѣ, какого рода идеи почерпались нами у Канта и Фихте, но не можетъ не указать на наше время. Какіе французскіе матеріалисты, спросимъ мы, дѣйствовали на умы нашей современной молодежи такъ разрушительно, какъ Фейербахи, Бюхнеры и подобные имъ нѣмецкіе ученые? Откуда пришли тѣ идеи о жизни и человѣкѣ, которыя вскружили головы нашимъ молодымъ людямъ и погубили столько свѣжихъ силъ, какъ не изъ лекцій и книгъ этихъ многочученыхъ нѣмцевъ? Не у Бюхнеровъ-ли и Молешотовъ заимствованы курьезныя понятія о томъ, что человѣкъ есть только одна изъ формъ дѣйствующей природы, отличающаяся отъ животныхъ однимъ высшимъ развитіемъ; что мысль—не что иное, какъ механическое послѣдствіе организма; что единственная цѣль нашей жизни—наслажденіе; что у женщины мозга меньше, чѣмъ у мужчины и слѣдовательно она обречена на низшее существованіе; что негръ отъ природы ниже бѣлаго и оттого черная раса осуждена на вѣчное рабство, и проч. Достаточно вспомнить, что знаменитый Карлъ Фохтъ, въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ, доказывалъ съ университетской кафедрой, что человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, и эту великую истину усвоили многія сотни нашихъ обезьянъ ли-

берализма. Всѣмъ этимъ мы обязаны нѣмцамъ, и конечно наше общество не могло почерпнуть ничего подобнаго ни у Буливо, ни у Флурана, ни у Дюбуа-Ремона, трудившихся надъ тѣми-же научными задачами. Что значатъ всѣ эти вѣтренные французы передъ солидными нѣмцами, проповѣдующими отсутствіе въ человѣкѣ души, порабощеніе женщины и вѣчное рабство чернокожихъ! По нашему крайнему разумѣнію, ни скептическій смѣхъ и кощунство Вольтера, ни вся анти-государственная и противо-церковная дѣятельность энциклопедистовъ, ни фривольная разнузданность романовъ Дюма-сына, ни блестящіе страницы книги Ренана не внесли въ русское общество такихъ нелѣпныхъ понятій, какія заимствованы нами прямо или косвенно изъ нѣмецкой науки и нѣмецкой литературы...

Но можетъ-быть спросать: отчего тѣ-же самыя понятія не породили разрушительныхъ началъ въ самомъ германскомъ обществѣ, которое, повидимому, не только не обнаруживаетъ признаковъ нравственнаго разложенія, а напротивъ, отличается прочностью и крѣпостью своихъ основъ. Не входя въ анализъ этихъ нравственныхъ началъ германскаго общества, мы замѣтимъ только, что у нѣмцевъ наука и литература далеко не имѣютъ той тѣсной и непосредственной связи съ жизнію, какъ у другихъ народовъ. Теорія и практика въ глазахъ нѣмца — во многихъ отношеніяхъ двѣ вещи совершенно различныя. Нигдѣ образованность не уживается такъ дружно съ самою невѣжественной грубостью, какъ въ Германіи. Въ нѣмецкой арміи, напримѣръ, много людей, не только учившихся въ школахъ, но и знакомыхъ съ университетскими лекціями, а между-тѣмъ нѣтъ на свѣтѣ войска болѣе грубаго, нѣтъ нигдѣ болѣе суровой дисциплины и болѣе высокаго и негуманнаго обращенія. Намъ самимъ случалось видѣть,

какъ въ Дрезденѣ, во время строеваго ученія на дворѣ казармы, старшій солдатъ билъ молодыхъ рекрутъ длинной палкою по ногамъ за каждый невѣрный шагъ. Не говоримъ уже о прусскомъ «военномъ духѣ»... Во время франко-германской войны корреспондентъ одного изъ англійскихъ журналовъ, восхищаясь нѣмецкими солдатами, замѣтилъ, что всѣ они грамотные и даже многіе знаютъ на память стихи Шиллера; а черезъ нѣсколько дней другой англійскій корреспондентъ сообщилъ разсказъ, какъ въ Базелѣ эти почитатели Шиллера добивали штыками больныхъ на постеляхъ и кидали младенцевъ въ пламень подоженныхъ домовъ... Не говоримъ уже о томъ, какъ преобладающая своей образованностью нѣкоторые изъ бароновъ Прибалтійскаго-края дѣйствуютъ въ отношеніи своихъ эстляндскихъ поселянъ. Все это доказываетъ, что наука и религія далеко не имѣла такого смягчающаго вліянія на тевтонскую расу, какъ это многіе думаютъ и утверждаютъ.

Перейдемъ отъ общаго къ частному. Немного можно указать вопросовъ въ новѣйшей литературѣ, которые обращали-бы на себя такое настойчивое вниманіе ученыхъ, какъ вопросъ объ отношеніи современной науки къ Библии. Великія открытія въ области естествознанія, проникая въ неразгаданныя до-тѣхъ-поръ тайны отдаленныхъ вѣковъ и первобытнаго человѣка, бросили сначала сомнѣніе въ правдивость многихъ библейскихъ сказаній. Іезуиты и протестантскіе туристы подняли при этомъ, по обыкновенію, крикъ противъ науки; но скоро ученые успѣли показать, что наука не только не колеблеть сказаній Моисея, а напротивъ, съ каждымъ новымъ открытіемъ положительно подтверждаетъ ихъ истину. И кто-же изъ трудившихся надъ вопросомъ объ отношеніи Библии къ наукѣ поддержалъ наиболѣе истину древняго писанія? Къ сожалѣнію, въ предѣ-

лахъ краткой статьи мы не имѣемъ возможности разобрать сколько-нибудь подробно этотъ вопросъ и должны ограничиться однимъ указаніемъ на него. Извѣстно, что основатель новѣйшей геологіи, Кювье, приподнимая въ первый разъ завѣсу, подъ которою скрывалась кора нашей планеты и жизнь допотопнаго міра, и указывая на переворотъ, постигшій за пять или шесть тысячъ лѣтъ назадъ землю, ни однимъ словомъ не выразилъ недовѣрія къ сказаніямъ Моисея, а напротивъ, прямо подтвердилъ достовѣрность писанія о послѣдовательности дней творенія. То-ли представляютъ намъ нѣмецкіе изслѣдователи по этому вопросу? Возьмите, напримѣръ, Циммермана и его сочиненіе «Міръ до сотворенія человѣка», пользующееся огромнымъ авторитетомъ въ Германіи. Несмотря на множество имъ-же самымъ приводимымъ фактовъ, подтверждающихъ достовѣрность книгъ Моисея, онъ во многихъ случаяхъ прямо отвергаетъ библейскія сказанія. Конечно, въ ряду нѣмецкихъ комментаторовъ Библии можно указать не мало такихъ, которые имѣли въ виду утвержденіе ея авторитета; но въ то-же время должно согласиться, что нигдѣ этотъ авторитетъ не встрѣчалъ болѣе рѣшительныхъ противниковъ, какъ въ Германіи.

У насъ въ Россіи вопросъ объ отношеніяхъ между Библиею и наукою, по особымъ обстоятельствамъ, до-сихъ-поръ не только не имѣетъ такой обширной литературы, какъ въ Западной Европѣ, но не представлялъ даже ни одного цѣльнаго, самостоятельнаго сочиненія и только затрогивался по частямъ, какъ-бы мимоходомъ. Вотъ почему мы съ особеннымъ удовольствіемъ встрѣтили книгу г. Вл... Библия и Наука», какъ первый опытъ самостоятельной обработки предмета, горячо интересующаго все европейское общество. Мы тѣмъ болѣе считаемъ долгомъ обратить вниманіе на это сочиненіе, что авторъ, при довольно обшир-

номъ знакомствѣ съ заграничной литературой трактуемаго предмета, не опирается въ своихъ положеніяхъ и выводахъ на иностранные источники и ни въ какомъ случаѣ не преклоняется передъ авторитетомъ нѣмецкихъ писателей. Главной точкою опоры въ опредѣленіи отношенія науки къ Библии послужили ему идеи, высказанныя митрополитомъ Филаретомъ въ его «Начертаніи библейской исторіи» и въ «Запискахъ на книгу Бытія». Одно это уже показываетъ, что авторъ имѣлъ въ виду поставить обработку своего предмета въ независимое положеніе отъ выводовъ, сдѣланныхъ въ этомъ отношеніи европейскими учеными. Что касается научнаго значенія книги г. Вл..., то это зависитъ отъ того, съ какой точки зрѣнія смотрѣть на нее. Кто будетъ искать въ этомъ сочиненіи вполне обработаннаго рѣшенія вопроса объ отношеніи Библии и науки, того оно далеко не удовлетворитъ, какъ потому, что авторъ не обнялъ всѣхъ сторонъ своего предмета, такъ и въ томъ смыслѣ, что нѣкоторыя стороны вопроса обработаны съ недостаточною полнотою, а иныя даже и совсѣмъ неудовлетворительны. Но если принять во вниманіе, что взятый авторомъ предметъ до-сихъ-поръ у насъ еще серьезно не обсуживался, и за исключеніемъ опытовъ по нѣкоторымъ изъ его частныхъ долженъ считаться новымъ и почти нетропнутымъ, то значеніе сочиненія г. Вл... не подлежитъ сомнѣнію, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые отдѣлы его книги, какъ-напримѣръ опредѣленіе отношеній Библии къ теологіи и палеонтологіи, отличаются достаточной полнотою. Во всякомъ случаѣ, въ книгѣ г. Вл... мы видимъ первый и довольно удачный опытъ обработки предмета, съ которымъ очень мало знакомо большинство нашей читающей публики.

Изд.

А. А. А. А.

М. в. М.







PG 3011 .M48 C.1  
Ogłoski na literaturyia i o  
Stanford University Libraries



3 6105 034 391 792

PG  
3011  
.M48

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES  
CECIL H. GREEN LIBRARY  
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004  
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

~~SEP 28 1998~~  
OCT 04 1998 - *u*